

Он нашел меня в камере смертника

Автобиографическое свидетельство

Он нашел меня в камере смертника

Автобиографическое свидетельство

Эта небольшая книга содержит свидетельство человека, оказавшегося в камере смертника как раз в тот период истории России, когда вступил в силу мораторий на смертную казнь, буквально за несколько дней до исполнения над ним приговора суда. Случайное ли это совпадение обстоятельств или на самом деле ответ на молитву кающегося грешника — сейчас установить невозможно, но сам по себе факт покаяния человека перед Богом произошел как раз в этот момент. История одного покаяния в изложении самого автора написана настолько остросюжетно и так искренне, в исповедальной, откровенной форме, что захватывает внимание с первых страниц. Читатель становится свидетелем таких глубоких переживаний, куда заглянуть постороннему человеку не только недоступно, но просто немыслимо, в силу запредельной черты, где жизнь по закону правосудия заменяется смертью.

Это свидетельство — исповедь приобретает еще одно значение, когда понимаешь, что совершившееся в душе человека прозрение произошло без участия служителей какой-либо религии, но всего лишь в силу минимального знания и ничтожно редких и случайных соприкосновений с традиционной Православной церковью. Их оказалось для стоящего перед лицом смерти вполне достаточно для полного осознания совершённого преступления и раскаяния, положивших начало глубоким переменам на всех уровнях: сознания, воли, чувств.

Это свидетельство о религиозно-нравственном возрождении в судьбе одного конкретного человека привлекает сегодня внимание еще потому, что оно находится на очень важном, прямо, надо сказать, судьбоносном перекрестке истории России, когда вера в Бога, отнятая у людей после революции, возвращается целой стране, многим народам, живущим в ней, нуждающимся в духовном возрождении. Сегодня можно повсюду наблюдать перемены, происходящие в сознании людей нашей страны, переосмысление российской истории времен мировоззренческого

эксперимента, когда не только вера в Бога, но и ценность личности отдельного человека были отменены в пользу великих идеи гуманизма и коммунизма. Для достижения этих целен были принесены в жертву многие миллионы жизней лучших людей бывшей Российской империи и, в первую очередь, носителей веры в Бога, особенно религии, традиционной для России.

Крушение коммунистической сверхдержавы, с самых первых шагов принявшее форму «перестройки», пошло по совершенно необычному сценарию, не имевшему аналогов в мировой истории падения мировых империй, тоталитарных режимов и государственных переворотов. Это исходило от главных лидеров — творцов этих перемен, не без вмешательства высшего Провидения, когда сокрушалась идеология, распадалась держава, падали стены, открывались границы, и все это происходило без пролития крови! Удивительно, но дух нового веяния, так называемой «перестройки», от самого начала имел в своей сердцевине евангельские, христианские принципы: прощение, невзыскательность, миротворчество, хотя все происходило и не без эмоций широких масс людей. Но армия и силовые структуры не подняли руки на собственный народ. Как сегодня известно, церковь сыграла во всей этой ситуации свою осоляющую и миротворческую роль. Тысячи еще живых жертв необоснованных политических репрессий и миллионы близких родственников «убиенных под жертвенником», наверное, впервые в мировой истории не взывали о мщении, но с новым пониманием происходящего процесса взяли в руки не оружие сокрушения или воздаяния, но символы православной веры — церковные свечи и распятия. Их современные потомки должны быть благодарны, что они выбрали единственно правильный путь решения нашего исторического наследия — бескровный путь прошения во имя Христа.

Особенно в наши дни, когда истекает срок введенного моратория на смертную казнь, важно всем осознать, что высшей

ценностью, установленной Богом, является жизнь, примиренная с Богом. В свете христианской веры такой возможностью обладает только живущий человек, ни в коем случае не мертвый, пусть даже по справедливости наказанный.

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ — ДЛЯ КОГО ОНО НУЖНО?

Тюремное служение — камень преткновения и камень соблазна. Оно дерзнуло прийти в самую раскалённую точку общественных страстей, которой является тюрьма. Она принимает на себя огонь противоречий между преступлением и наказанием и, как правило, неудовлетворенной правосудием потерпевшей стороной. Действительность такова, что самое строгое решение правосудия не в состоянии восполнить горечь утраты и удовлетворить потерпевших. Но печальная правда заключается в том, что самое суровое наказание, как правило, не в состоянии исправить преступника. Часто жесткая мера наказания еще больше ожесточает и загоняет вглубь саму проблему зла. На судью порою ложится неподъемное для человечества бремя выбора оптимальной меры между справедливостью и целесообразностью. Преступник часто бывает такой же несчастной жертвой длинной цепи социальных проблем общества. Вокруг этой вечной дилеммы, даже в среде законодателей, не умолкает жаркая дискуссия между ревнителями соблюдения законности и приверженцами гуманного подхода к любому наказанию. С одной стороны, полыхает пламя: «Убить его мало!», а с другой —- бросаемый Каином в лицо самому Богу упрек: «Наказание мое больше, нежели снести можно: вот. Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле...» Вся проблема в том, что Каин не признал себя виновным. Ожесточившись, он все последствия своего преступления перекладывает на Бога. Убив брата своего, он обвиняет Бога за стремление окружающих людей совершить правосудие над ним: «... и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Устанавливая закон справедливого воздаяния за любое преступление. Господь, однако, очень строго пресек попытку творить самосуд всяким встречным. «И сказал ему Господь: за то

всякому, кто убьет Каина (произвольный самосуд), отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Бытие 4: 15).

Эта печальная картина актуальна и сегодня. Она побуждает общество искать гуманные меры наказания преступников, которые сами стали жертвами целого ряда преступлений, совершавшихся до них и совершающихся вокруг них. Но сам Каин признал, что любое наказание, оставляющее преступнику жизнь, неминуемо сопряжено е ожиданием произвольного самосуда от любого встречного. Этот инстинкт остается в человеке даже тогда, когда замолкает голос совести.

От первобытных времён в результате вспышек произвольного самосуда появлялись мстители за кровь. Эта проблема и сейчас является грозной стихией в среде некоторых народностей.

Кровная месть, существующая веками, поглощает целые роды и племена. Жертвами её, как правило, становятся и невинные люди. Огонь кровной мести не знает меры и удовлетворения. Порою даже несчастный случай, доказанный в законном порядке, не в состоянии остановить мстителя за кровь. Поэтому во времена Закона Моисеева была предусмотрена защита для таковых в виде специально устроенных городов убежища, куда мог убежать виновный в непреднамеренном убийстве, чтобы мститель за кровь не настиг его.

Современный институт исполнения наказаний — это не что иное, как гуманизированный вариант объединения двух идей: 1) наказания с применением мер воздействия различной суровости и 2) изоляция преступника от общества, в том числе и от мстителей за кровь.

УИНы — учреждения, необходимые для любого цивилизованного государства, призванные исполнять наказание, сохранять в обществе равновесие и обеспечивать безопасность граждан от разжигания любого вида вражды. По кто защитит человеческую природу людей, служащих в любом государстве, от

влияния зла и греха? Кто обеспечит гарантией правосудия ее граждан? Этот вопрос был неподъемным на протяжении всей истории человечества и остается не решенным до сего дня. А значит, признаками жертвы в той, или иной степени, обладают все живущие на Земле. Жертва ущербного детства сеет страдания людям благополучного воспитания. Пристрастное правосудие порождает очередную жертву ожесточения.

Служащие, охраняющие преступников в местах не столь отдаленных, проживая там со своими семьями, являются такими же невинными жертвами суровой действительности грехопадения человечества.

От зла страдают все. Библия говорит, что весь мир лежит во зле. Даже человеческое правосудие и справедливое возмездие бессильны искоренить, уничтожить или хотя бы приостановить зло. На земле невозможно найти существование добра, на которое не влияло бы зло. Зло имеет древнюю историю происхождения. Оно пустило свои корни в социальную, экономическую, психологическую и духовную области жизнедеятельности человечества.

Только Библия дает мировоззренческое объяснение происхождения природы добра и зла; дает ключ к пониманию верховной власти, которая держит под контролем силы зла, может побеждать, изгонять и даже уничтожать зло. Такой могущественной силой и властью обладает Всевышний Творец неба и земли. Только один Иисус Христос на Голгофском кресте победил зло на земле.

Во всех религиях есть боги, но ни в одной мировой религии, кроме христианства, нет Бога, страдающего от жестокости своего творения. Во многих религиях боги умирают и воскресают, во многих религиях боги требуют кровавые жертвы от людей, но только в христианстве есть идея, согласно которой Бог Сам Себя приносит в жертву искупления за грехи всего человечества и примиряет с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. Как

написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн. 3: 16). Только в христианстве есть идея усыновления падшего человека. Это выше всякой возможности логически объяснить и оправдать такое действие Всемогущего Бога. Эта идея безумна в глазах благополучного человека, но оправдана всеми спасенными чадами этой Премудрости.

Есть одно ключевое выражение для понимания этой идеи: «И узрит всякая плоть спасение Божие» (Лук. 3: 6). Путь спасения — только веруй в Иисуса Христа! Результат — сверхъестественное спасение духа, души и тела от власти зла и греха, страха смерти, болезни. Ветхая природа заменяется новой природой детей Божьих, сориентированных на любовь Божью. Вот это и есть действующий феномен «Тюремного служения», основанный на обретении живой веры во Христа, когда преступник перестает быть им.

Поэтому на заданный вопрос: «Для кого нужно Тюремное служение?», можно твёрдо ответить: нужно всем, — Богу, людям, государству, погибающему от злобы и туберкулёза заключенному, их родственникам и, конечно же, охранникам.

Яркую иллюстрацию тому дает Послание к Филимону Апостола Павла в Новом Завете. Оно, как никакая другая книга, показывает целесообразность, полезность и необходимость миссионерского служения в тюрьмах. Вкратце стоит напомнить его содержание.

Апостол Павел, первый тюремный служитель, в римской тюрьме встречает беглого раба Онисима, ранее знакомого ему по дому богатого христианина Филимона. Онисим сбежал от своего господина и попал в римскую тюрьму.

Рабов мстили проколотым ухом. Беглые рабы, не имея отпускного свидетельства от своего хозяина, обрекали себя на бесправное существование, живя попрошайничеством или воровством. Хотя Онисим и дошёл до Рима, но как беглый раб скоро попал в тюрьму.

По закону Римского государства его господин должен забрать его, заплатив за него штраф. В противном случае его ожидало более жестокое пожизненное рабство у богатых работорговцев, скупавших дешёвых рабов на галеры или на тяжелый физический труд в каменоломни. В этих трагических обстоятельствах несчастный Онисим встречает Апостола Павла — проповедника Евангелия.

Сбежав от одного вида рабства, Онисим попал в зависимость от преступного образа жизни, приведшего его к ещё более жестокой форме рабства с цепями на шее. Апостол Павел рассказывает Онисиму о Христе, не только словами, но делом являет ему любовь Христа. Онисим уверовал в живого Бога и стал христианином. В нем умирает природа раба греха и возрождается новая — природа раба праведности. Павел убеждает его вернуться к своему господину с покаянием и покориться ему. Ведь его господин стал теперь его братом. Заплатив за Онисима штраф, он отправляет его с письмом к его господину Филимону, в котором пишет: «по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа; прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих: он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его; ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах [за] благовествование; но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты н самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты

сделаешь и более, нежели говорю» (Филимону 1: 9- 21).

Значение этого послания велико для эпохи крушения рабовладельческого строя. Из него видно, что вера и любовь могут соединять то. что разлучено грехом, не нарушая социальных различий между членами церкви. Конечно же, это были не только слова. Возвращение беглого раба Онисима было неопровержимой реальностью, а перемены в нем — всеми узнаваемыми и читаемыми.

Послание Филимону быстро распространялось по Римской империи в рукописях, входя в дома рабовладельческой знати, поражая благородством, величайшим тактом и сиянием славы высочайшего духа. Многим становилось ясно, что рабовладельческому строю приходит конец. Все видели преимущества Онисима — брата возлюбленного, перед негодным беглым рабом Онисимом. Над Римской империей только начинала восходить заря христианской эры.

Сколь многим мы обязаны почти двухтысячелетнему влиянию христианства во всем мире и тысячелетней истории христианства на Руси! Вера открывает нам путь превосходнейший, в отличие от известного людям в период Ветхого Завета, когда грех уничтожался вместе с грешником. Не истреблять, но творить нового человека, — вот пришедшая свыше во Христе мудрость последней цивилизации, которой принадлежит будущность и надежда, и благословение: «И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны» (Отк. 21: 5).

В. Г. Мурашкин

ОТ АВТОРА

«Свидетельство» состоит из двух частей, написанных мною в разное время. Первая — в 2000 году, вторая — в 2003 году. Инициатором появления «Свидетельства» был настоятель московского храма святого Бессребреника Космы и Дамиана, мой духовный руководитель, один из самых дорогих для меня людей, отец Александр (А. И. Борисов). Появление этой публикации, тем более под моей фамилией, могло причинить существенный вред моим родным и знакомым. С учетом этого мною, с разрешения о. Александра, при изложении материала были несколько изменены мои автобиографические данные, а также фамилии потерпевших и иные, малозначительные, не искажающие сути повествования детали. К тому же публикация должна была выйти под псевдонимом.

Однако волею случая статья вышла (журнал «Звезда» № 3 за 2000 г.) под моим подлинным именем. Автобиографические смещения и прочая ретушь оказались бессмысленными — так было угодно Ему. Поэтому вторая часть «Свидетельства», написанная мною также по рекомендации о. Александра, как дополнение и продолжение к статье, опубликованной в журнале «Звезда», повествование полностью документальное. Прошу читателя иметь в виду эти обстоятельства.

С уважением, автор

ЧАСТЬ 1

... В одиночке, в камере смертника, ожидая ответа на свое ходатайство о помиловании, я провел к тому времени уже около трех лет. Новоприговоренного к смертной казни завели ко мне перед вечерней проверкой. Мы познакомились. Я лежал и слушал. Он ходил и рассказывал.

Вместе с приятелем он убил двух таксистов. Во всем происшедшем он винил только роковое стечение обстоятельств, только случайность. Я слушал его и про себя отмечал, что причину своей катастрофы он объясняет точно так же, как еще год-два тому назад объяснял причину своего преступления и я. Совпадение было еще в одном: и его и моя биографии до совершения убийства складывались под одним и тем же знаком — под знаком, как будто ничем не мотивированной везучести. Отличительным было лишь то, что если я о своей везучести всю свою жизнь лишь догадывался, все свои удачи больше приписывал собственной неординарности, то сокамерник, в отличии от меня, в свою везучесть верил как в абсолютную реальность. Когда я, спустя полтора месяца после нашего знакомства, предложил ему писать ходатайство о помиловании, он отказался. Он сказал, что его не расстреляют и так.

Подробности его дела к этому моменту я уже знал и как бывший юрист видел, что никаких особенных шансов избежать расстрела у моего сокамерника нет. Считая занятую им позицию абсурдной, я попробовал выяснить у него, на чем основана его уверенность, и однажды он объяснил.

Он заявил мне, что его не могут расстрелять потому, что он везучий, что он просто обречен на то, чтобы уходить от возмездия. «Я, - говорил он, - сотни раз оказывался перед риском возмездия, когда казалось - все, на этот раз уж точно - конец! По всякий раз, вопреки всем законам вашего здравого смысла и логики, снова и снова, в самую последнюю секунду, обязательно случалось что-то

такое, что мгновенно меняло всю ситуацию и буквально выхватывало меня из-под удара. Так было всегда! Так будет и теперь!..»

Это отдавало патологией, но я обратил внимание, что его убеждения в своей основе были вполне созвучны еще буквально вчерашним моим. Я не формулировал их вслух, но на уровне подсознания они присутствовали всегда и во мне; и очень часто именно они могли быть отправной точкой и объяснением многих и моих поступков. Я слушал сокамерника и видел перед собой почти те же самые, что испытывал когда-то и сам, переживания. Почти тот же самый опыт, только в стадии крайности — доведенным, скорее всего очень активным встречным откликом, до состояния извращения — до суеверия.

Ничего из того, что я успел увидеть, глядя из окна камеры смертника, я от своего сокамерника не утаивал. Я сказал, что покровительствующая ему сила, то, во что он вериг как в своего индивидуального спасителя, вовсе не тайна (как считал он), а известна давно, изучена, разоблачена и именуется просто — дьяволом.

Сокамерник возразил, как возразят многие. Он сказал, что в существование дьявола он не верит. Он сказал, что если даже допустить, что дьявол все-таки существует, то уже по всему тому, что о нем пишут и говорят, он, т. е. дьявол, есть символ зла, есть само Зло. А потому делать доброе: защитить человека, помочь ему избежать наказания, помочь преодолеть какое-то препятствие — дьявол не может уже по одной лишь своей зловредной, дьявольской, ненавидящей человека сути.

Приводя конкретные примеры из своей личной жизни, я попытался убедить его в том, что очень часто свое зло дьявол творит именно под видом добра. Что, не вникая в СУТЬ вещей, мы то и дело принимаем за добро то, что на самом деле никаким добром не является — принимаем, подаваемое нам яблоко, не подозревая, что оно пропитано ядом. «Мы совершаем проступок,

— говорил я, — и дьявол делает все, чтобы увести нас от совершенно заслуженного нами наказания. От наказания справедливого, необходимого как лекарство — горькое, но возвращающее нам пошатнувшееся было здоровье. Смысл подобного дьявольского «спасения» в том, чтобы «спасенные» от справедливого возмездия н раз, и другой, и третий, мы в конце концов уверовали в собственную «везучесть», в безнаказанность, в то, что принцип: «что посеешь, то и пожнешь», на нас лично не распространяется, да и существует ли такой закон вообще? Дьявол предохраняет нас от падения в песочницу для того, чтобы чуть позже, когда мы расслабимся и дезориентируемся, столкнуть нас в бездну; «спасает» от записи в дневник, от лишения мороженного, потом от выговора за опоздание на работу и от штрафа за переход улицы, потом от статьи с санкцией до трех лет лишения свободы. «Спасает» до тех пор, когда, наконец-таки, уверовавшие в собственную непотопляемость как в закономерность, мы, нарушая запрет за запретом, переступим и последний — единственным наказанием за нарушение которого может быть уже только смертная казнь. Когда мы переступаем и эту, последнюю черту, игра заканчивается, в камеру смертника дьявол предпочитает не входить. Он доводит нас только до порога, дверь захлопывается, и человек остается один. Один на один с изувеченным собой и «своим крахом».

Теперь я знаю: я не любил моего сокамерника, я плохо желал его спасения, и потому ни одному моему слову он не поверил, и в один из дней за ним пришли, и он так и ушел — обманутый и брошенный, так и не пожелавший согласиться с тем, что та, незримая сущность, та таинственная сила, которую он назвал своей Везучестью, гарантом безопасности и неистребимости, на этот раз ведет его на казнь.

Его расстреляли.

Я живу. Надеждой сказать этим своим обращением что-то новое, до этой минуты неслыханное, не тешусь. Мои слова скорее

исполнены не личного долга, они всего лишь еще одно обращение к миллионам других таких же, очередное свидетельство в изобличение жизненной концепции, строящейся на законах религии Случайности-Везучести.

Я родился и вырос в удаленном от всяких центров селе. Семья _ десять душ: отец — шофер, мать — рабочая полеводства и восемь человек нас, детей, которым разрешалось все: не допить молоко, не застегивать верхнюю пуговицу, прыгать с сарая, за исключением одного: никогда не применять в своем лексиконе слов: «не смог», «не успел», «недослышал» и прочих аналогичных им по смыслу. Неискренность — осуждалась. Недобросовестность — преследовалась. Самым позорным считалось — трусить.

Старшим из детей был я. Это обязывало быть примером, во всем первым: научить младших, защитить от чужих на улице, ответить за всех за разбитое стекло. Отклонений в развитии у меня не было, все, за что брался, давалось мне легко и просто, и потому с обязанностями старшего я справлялся. Как предполагаю теперь, по прошествии лет, возможно, это мое старшинство в семье, никем особо не контролируемое, не поправляемое, и стало первым, что вместе с формированием во мне чего-то полезного, способствовало развитию во мне и таких дурных качеств моего характера, как самоуверенность и заносчивость, ставших однажды роковыми.

Лидерство среди сверстников далось мне тоже без особых усилий. Началось все с того, что мать очень рано научила меня читать — в совхозную библиотеку я был записан, когда мне не исполнилось и пяти лет. Телевизоров в селе еще не было, потому в среде моих погодков всякий, имевший что рассказать, сразу же становился центром внимания. Я же читал запоем, истории и сказки мог рассказывать часами. Благодаря чтению я был наиболее информированным в своей среде, а потому очень скоро было признано, что все, что исходит из моих уст, сомнению подлежать

не может. Толкнул ли Гриша Машу, пли она сама растянулась — спрашивали у меня. Будем играть в футбол или в пекаря? — я выбирал футбол, и мы играли в футбол. Пройти первым по трубе над оврагом, первым КИНУТЬ камень в прилаженную на куст бутылку, первым примерить новую Петькину фуражку — мне доставалось как само собой разумеющееся.

Все это, видимо, было еще одной причиной, послужившей буйному возрастанию во мне самомнения и самолюбия.

Где-то там же, в детстве, в мою жизнь начали вкрапливаться и первые элементы «Случайности» и «Везучести». Б момент ли, когда отцовский ремень каким-то «чудесным» образом оказывался случайно завалившимся за сундук. В день ли, когда я «совершенно случайно» попал камнем в голову соседской Любаше, а она «случайно» подумала, что камень в нее швырнул ее брат, и мне «повезло».

Ни одной серьезной неприятности не произошло со мной и за весь период моей учебы в школе. Я был сплошным отличником, рисовал, декламировал, занимался спортом, и ПОТОМУ любое нарушение сходило мне с рук - даже такое, как выстрел из пугача (правда нечаянный) во время урока биологии, мне «повезло», про выстрел ни отец, ни мать так никогда и не узнали. Я сжег в лингафонном кабинете магнитофон, вместе с приятелем мы взломали шкаф в кабинете географии и выкрали там 15 компасов — и мне снова «везло».

Прогрессировавшему во мне тщеславию и честолюбию учителя, будучи дезориентированными моими успеваемостью и активностью, не придавали значения. У родителей, занятых общественным производством, времени на нас не оставалось. Потому какого-либо воспитательного воздействия со стороны взрослых, чьего-то целенаправленного воздействия на формирование моих взглядов и принципов - я на себе не испытывал никогда. Моими воспитателями, как и у большинства, всегда оставались я сам и ситуация дня.

Закончив школу, я поступил в Саратовский юридический институт. Для наглядности, насколько легко давалась мне учеба в этом заведении, скажу, что за четыре этих года я успел дополнительно выучиться на шофера, закончил курсы машинописи и экскурсоводов и выполнил норматив мастера по боксу. И каждое новое достижение становилось очередной ступенькой к возрастанию моей гордыни: получаемое от Бога я приписывал одному лишь собственному усердию.

Не оставляло все эти четыре года меня и мое «Везение» — его инициатору необходимо было поддерживать во мне уверенность в собственной исключительности, в том, что нет такой неприятности, из которой бы я не вышел сухим из воды. В подтверждение этого приведу два примера.

Однажды, «совершенно случайно», я оказал услугу одному человеку. Взять предложенные мне за работу деньги моя гордыня мне уже не позволила. Приняв мои жест за великодушие, человек предложил мне свою дружбу. Спустя время случилось так, что мне вдруг отказали в предоставлении места в общежитии. Как выходец из многодетной семьи я принадлежал к числу льготников. Я пошел по инстанциям. Мне объяснили, что по чьей-то невнимательности меня просто случайно забыли внести в списки, но исправить что-либо теперь уже невозможно, так как все места уже распределены — все занято.

Средств на частную квартиру я не имел. Но главным было то, что я должен был расписаться в собственном бессилии на глазах у всех друзей и знакомых. Моему самолюбию был брошен открытый вызов, опыта компромиссов у меня не было, проигрывать я не умел, и не желал этому учиться, и я не придумал ничего лучшего, как только устроить перед приемной ректора сидячую забастовку. Узнать, однако, о моей забастовке никто в институте не успел, так как, просидев минут 15, я вдруг увидел идущего по коридору, не имевшего К нашему институту совершенно никакого отношения, моего знакомого. Узнав о моей проблеме, он зашел к ректору, а

еще через полчаса я держал в руках ордер не только на себя, но и на своего, не имевшего абсолютно никаких прав на место в общежитии, Друга.

Второй случай был связан с экзаменами. Во время сессии я уехал на соревнования и пропустил экзамен по трудовому праву. Когда я пришел на кафедру за разрешением на пересдачу, профессор предупредил меня, что у него традиция: тем, кто сдает экзамен не с основной группой, он выше тройки не ставит. Тройка меня не устраивала. В тот вечер я был у знакомого на даче, в разговоре упомянул и о профессоре с его традицией. Знакомый велел, чтобы я принес ему мою зачетную книжку. Через день я получил ее обратно. С пятеркой.

Я мог бы привести еще десяток примеров, свидетельствующих о том, что инициатор всех этих «случайностей» и «везений» упорно приучал меня к мысли о том, что там, где для других действует правило, для меня действует исключение. И усилия эти без результата не оставались: я все больше укреплялся в мысли о том, что я действительно принадлежу к избранному кругу сильных, тех, кто, поставив задачу, умеет добиваться своей цели (в то время как на самом деле это был миф).

Что же касается моего саратовского знакомого, то позже я узнал, что его называют неофициальным хозяином города, — направление, по окончании института, я получил по его же протекции. Я шел опять вне правил: все ехали туда, куда их посылало министерство, я ехал туда, куда захотел поехать сам.

По месту прибытия я был назначен на должность следователя горпрокуратуры. Могущество моего саратовского знакомого на область моего нового местопребывания не распространялось, но для инициатора моей «везучести» это мое перемещение из одной области в другую препятствием не было: он уже шел за мной неотвязно — и я снова оказался на особом положении.

Особость заключалась в том, что заместитель прокурора области оказался моим земляком, бывал когда-то в нашем селе,

более того — был бывшим боксером и тоже не слушал ничего, кроме Высоцкого.

В год моего прибытия к месту службы прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту хищения драгоценных камней с предприятия по производству бриллиантов. Делу был присвоен двузначный номер, то есть оно было отнесено к категории дел исключительной государственной важности. И конечно же, его расследование было доверено наиболее квалифицированным работникам. Мой же следовательский опыт к моменту возбуждения этого дела исчислялся едва ли четырьмя месяцами. Однако вопреки нормам и правилам я тоже был включен в состав бригады.

Смысл подобных включений состоит в том, что участие следователя в расследовании дел, имеющих наиболее актуальное значение, всегда являлось эффективнейшим средством для получения наград и чинов. Тем самым — мне были созданы самые благоприятные стартовые условия для устроения карьеры.

Расчет, конечно же, оправдался, по итогам расследования я был представлен к досрочному получению звания, был объявлен подающим надежды и сразу же был командирован в один из районов области для расследования дела о хищениях в системе Агроснаба. Занимаясь Агроснабом, я сделал лишь то, что сделал бы на моем месте любой. Результат, однако, получился самый неожиданный: оказалось, что дел подобной категории в области еще не было, мое оказалось первым — материалы были опубликованы в Бюллетене Прокуратуры РСФСР, в разделе «Положительный опыт». Меня хвалили, меня ставили в пример, по мне призывали равняться. Моя гордыня поднялась еще на уровень.

По возвращении из командировки я женился, получил квартиру, начал обустройство, но вскоре снова был вызван, теперь уже в Москву, включен в состав следственной группы Прокуратуры СССР и направлен в одну из союзных республик.

Чтобы подчеркнуть какой, тем самым, подарок был сделан

моему тщеславию, скажу лишь, что руководству Прокуратуры Союза я был представлен как один из лучших следователей области; я был включен в состав бригады, состоявшей из следователей по особо важным делам, советников юстиций, в то время как сам имел звание лишь юриста 3 класса (полковники и лейтенант) и в органах проработал какие-то год и восемь месяцев.

Новое дело оказалось сверхактуальным, так называемым в те годы «Делом №1», находящимся под личным контролем Генсека ЦК КПСС Андропова. В Россию я вернулся только через два года. От предложения руководителя бригады остаться в следственном аппарате Союза я отказался. Отказался по возвращении домой от перевода и в область, и в республику.

Причин было несколько. Во-первых, мое честолюбие было удовлетворено полностью — как следователь я состоялся и был признан на всех уровнях, а чины и звезды меня так и не заинтересовали.

Во-вторых, я уже сообразил, что семья важнее работы.

В-третьих, я уже успел усвоить, что быть следователем самостоятельным и независимым, то есть поступающим при решении вопроса: карать или миловать — не как от тебя потребуют, а как посчитаешь нужным сделать сам, руководствуясь лишь собственными принципами, собственным пониманием вещей — можно только, оставаясь в самом низовом звене прокуратуры, то есть на уровне района. Чем выше уровень (область, республика, Союз) - тем меньше свободы действий.

Таким образом, получалось, что именно районный уровень наиболее всего соответствовал степени моих амбиций — привычке ставить собственное мнение выше других. Совокупность этих и некоторых других причин и побудила меня остаться в районе. Задержусь на этом временном промежутке несколько еще, так как именно в этот год, год моего возвращения из командировки, считаю временем наиболее быстрых перемен моего мировоззрения — в сторону деградации и распада.

Я хорошо помню этот день. Это был понедельник, первый мой рабочий день у себя в городе после двухлетней отлучки. Я должен был принять решение о привлечении к ответственности, за недостачу в размере 2540 рублей, приемщицы Комбината бытового обслуживания. Я вдруг поймал себя на мысли, что еще недавно, там, в Азии, мне от имени Государства сказали: «Так надо!» — и я просто разорвал и выбросил акт о недостаче на сумму свыше ста тысяч. Мне разрешили проигнорировать Закон — отодвинув требования нормы права, я освободил от подрасстрельной статьи подлинного расхитителя, а теперь, то же самое Государство требовало, чтобы всего за две тысячи я отправил на пять лет за решетку, запутавшуюся в отчетности девчонку. Эта избирательность государственной справедливости, это деление граждан по сортам на более достойных милости и менее достойных задело меня как никогда прежде (хотя я был и до этого случая и очевидцем, и соисполнителем и более отвратительных юридических гримас) — я не захотел признать эту приемщицу преступницей, подлежащей столь серьезному наказанию.

И тогда, поставленный над Законом (там, в Азии) и раз, и другой, и третий, и вновь получивший задание решить судьбу еще одного человека, я уже не усмотрел никаких препятствий к тому, чтобы встать над Законом, теперь уже по собственной, личной инициативе, снова.

Уголовное преследование, сфальсифицировав материалы дела, в отношении приемщицы КБО я прекратил. В тех днях я окончательно присвоил себе право самолично определять истинность вещей и понятий, самому определять, что законно, что нет, что правильно, что не правильно. Я окончательно утвердился в мысли, что Закон не совершенен, порою просто бестолков и безалаберен, и вообще в большинстве случаев не соответствует ни требованию конкретного момента, ни вообще самой истине. А раз так, то я просто вынужден взять на себя обязанности решать, что

справедливо, что не очень, что выгод-но государству, что пет, кто подлежит привлечению к ответственности, а кого можно помиловать. Я присвоил себе право решать по собственному усмотрению людские судьбы — а от-сюда уже оставалось совсем не далеко до присвоения себе и последнего права: права решать вопросы не только кому радоваться, а кому плакать, но и кому жить, а кому — нет.

Я присвоил себе функцию Государства, а вскоре и функцию Того, Кто есть единственный и Законодатель, и Судья, Создатель и правил и норм, и неба и земли — по сути поставил себя на место самого Бога.

Присвоению себе компетенции и полномочий Государства предшествовала еще одна утрата — окончательная утрата мною того, что осмелюсь назвать Верой. О Боге я ничего не знал, но неверующих на земле нет, потому верующим был и я. Я верил подсознательно. Верил в бригадиров и председателей сельсоветов, верил в героев и академиков, верил в заводы и фабрики, верил в управляющих этими фабриками министров, в министерства и ведомства, в партию и правительство, в Организацию, в то, что называлось Государством, в его Системность, Однозначность, Справедливость, Здравомыслие. Во все то, что казалось умнее меня, сильнее меня, совершеннее меня.

Расследуя же дело в отношении государственной элиты, от секретарей Обкомов до членов ЦК и Политбюро КПСС, то есть в отношении тех, кого я считал частицами государственной структуры (в которую верил), ее живыми клетками, занимаясь анализом их административно-хозяйственной деятельности, знакомясь с их убеждениями и принципами, я вынужден был убедиться и признать, что никакой разумной, дисциплинированной, однозначной Системы, способной гарантировать мне не то что завтрашний день, но и сегодняшний — нет. Есть какая-то каракатица — что-то аморфное, зыбкое, полуслепое-полуглухое, часто глупо-наивное, тупоупрямое,

прямолинейное, что-то, что при малейшем условии можно обойти, обмишулить, одурачить, и вместе с тем само постоянно-лгущее, лгущее и лгущее.

Вера же возможна лишь при условии, что то, во что я верю, чему согласен поклоняться, — выше меня, совершеннее, превосходнее. Система же, в которую верил я, при более пристальном рассмотрении, при взгляде на нее изнутри, оказалась совершенно несоответствующей требованиям о превосходстве. Я обнаружил в ней массу изъянов и недостатков, я то и дело оказывался и добросовестнее ее, и последовательнее, и расчетливее, а значит и совершеннее, и выше.

О том, что происходит с человеком, решившим, что выше него, над ним, никого нет, сказал своим Смердяковым Достоевский: если выше — никого, значит каждый сам по себе и Бог, и Закон, и Судья. Значит никаких «нельзя» больше не существует, необходимость в следовании каким-то принципам, заповедям — отпадает. Отпала она и для меня. Никаких обязательств, ни перед кем у меня больше не было, все, что осталось, сводилось к дарвинскому: жизнь — это борьба особей за выживание, сильного со слабым, не хочешь быть сожранным — сожри сам. 13 книге оптинского старца Варсонофия я прочитал недавно: «... Это начало философии зверя. Уверовавший в нее человек способен очень легко оскорбить женщину, обокрасть друга, убить — и все это с полным сознанием своего права на все эти преступления...»

Прошло еще четыре, и, конечно же, абсолютно благополучных, года. У меня появились сын и дочь, я получил новую квартиру, получил новую должность — зампрокурора, - и уговорил переехать ко мне на постоянное жительство одного из своих братьев.

До мая 87 года все шло ровно, а в мае у прокурора резко обострились отношения с Горкомом КПСС: прокурор отказался выполнить требование Первого о прекращении проверки на одном из предприятий города. Решено было «поставить Первого на

место» — проверку мы довели до конца, по ее результатам я возбудил уголовное дело и принял его к своему производству.

В деле оказались замешанными должностные лица как районного, так и областного аппарата управления. Для их осуждения необходимо было получение высококачественной, не подлежащей опровержению доказательственной базы. Потребовался опытный и надежный специалист-бухгалтер. В качестве такого мне была рекомендована главный бухгалтер одного из колхозов, Полякова*, она же, в свою очередь, привлекла к делу свою знакомую, Ковалеву, исполнявшую в том же хозяйстве обязанности кассира. Таким образом состоялось мое знакомство с жертвами совершенного мною впоследствии преступления. Но на тот момент ни они, ни я ни о чем подобном не могли и подозревать.

Мы начали работать. Их помощь, до определенного дня, должна была оставаться тайной. Встречались мы только вечером, по окончании их рабочего дня, в обусловленном месте — в лесу за селом, где они проживали.

Окольным путем я привозил их в прокуратуру, мы запирались, и приступали к работе с документами. Работали без выходных, но сроки поджимали, давление со стороны властей становилось все серьезнее, и потому, форсируя получение результатов, мы постоянно просиживали за полночь. Обратно в село их отвозил также я сам. Эти ночные бдения, общая тайна, а потом и общая победа (привлекаемые чиновники были осуждены), послужили к сближению — по завершении дела я просил своих экспертов, в случае возникновения у них каких-то проблем, обращаться ко мне безо всяких условностей. Они обращались, и наши отношения, таким образом, продолжали сохраняться все последующие годы.

По работе им то и дело приходилось посещать банк. Специальный транспорт им для приезда в город выделялся от случая к случаю, чаще добирались электричкой, попутками, а то и

---

* *Полякова и Ковалева — фамилии изменены*

пешком. Выезжая как-то из села, где они проживали, я увидел идущую по полю Ковалеву. Поравнявшись с моей машиной, она сказала, что не захотела ждать электричку и пошла с 37- ю тысячами рублей в сумке, пешком. Я сказал, чтобы в следующий раз, в случае возникновения проблемы с транспортом, звонили бы мне. Моим предложением они воспользовались, и на протяжении последующих почти трех лет, я неоднократно предоставлял им свою служебную машину — иногда поручал отвезти их своему водителю, иногда ехал сам.

А потом наступила еще одна осень. Возвратясь в один из вечеров домой, я застал своего брата с детективом в руках и, считая это занятие пустой тратой времени, посоветовал ему бросить эту книгу в мусор. Брат имел иное мнение. Мы заспорили. Брата поддерживал свояк. Раздраженный тем, что мне, профессионалу, перечат, я заявил, что все детективы - бред, что на практике преступления и совершаются, и раскрываются безо всяких вывертов и затей, и в качестве примера рассказал о случае, когда встретил в поле несущего в сумке 37 тысяч кассира. Они высказали сомнение. Тогда я стал рассказывать им о всем том беспорядке, который царит в системе доставки денежных средств из банка в хозяйства района. Возражать брат и свояк мне не имели возможности, но я видел, что они отказываются мне верить. Это обозлило меня еще больше, и, желая во что бы то ни стало доказать им свою правоту, я вызвал их на проведение эксперимента.

Дня через три-четыре я посадил их в машину, доставил их в лес и велел затаиться. Вскоре на дороге показался молоковоз, в кабине которого ехал кассир. Поравнявшись с местом, где мы прятались, молоковоз остановился, шофер с кассиром вышли и стали убирать сдвинутую нами на дорогу валежину. Я сказал, что будь теперь на нашем месте настоящий грабитель, ему бы осталось лишь подойти к машине и забрать сумку с деньгами. Ветел за молоковозом мы прибыли к конторе совхоза, где под предлогом проверки я взял у кассира чековую книжку и, выйдя в коридор, показал брату запись,

свидетельствующую о том, что кассир привезла из банка 52 тысячи.

Спор был исчерпан, самолюбие мое утешено и, казалось бы, все должно было бы забыться. В действительности случилось по-другому.

Здесь осмелюсь еще на одно отступление.

Уже в камере смертника мне попалась книга поучений Святых Отцов, из которой я впервые узнал о существовании такого понятия как «Приражение*». Приражение — это обращение к человеку бесов; слова, речь — не таящие в себе, на первый взгляд, ничего порочного, в действительности же содержащие в себе тщательно замаскированное Зло. Распознать Приражение, отличить его от мыслей собственных, от мыслей, посылаемых нам Богом, нам позволяет наличие в нас такого индикатора, как Совесть. Потому, если быть внимательным, не заметить в себе Приражения, спутать его с чем-то другим — невозможно.

Предлагаемая Святыми же Отцами форма реагирования на Приражения не сложна: пресекать их в самый момент их обнаружения жестким и однозначным "нет". На бесовские заигрывания — не откликаться, к призывам — не прислушиваться, ни в какие диалоги и препирательства — не вступать. В делах одурачивания бесы искуснее человека. Стоит человеку хоть каким-то образом обнаружить свой интерес к Приражению, зафиксировать на нем внимание — с целью просто ли пожанглировать фразой, поерничать, пофантазировать, пощекотать ли себе нервы сразу же учуянной опасностью — человек непременно запутается. Бесы поведут рассуждения так, что от категорического неприятия Приражения человек перейдет к сомнению, от сомнения — к соглашению: белое назовет черным и наоборот. Приражение — семя Зла, оставив его в себе, позволив ему в себе прорасти и развиться, человек будет уже не в состоянии

---

* *Тонкое, завуалированное искушение от диавола. Прим. ред.*

избавиться от него своими собственными силами.

Ничего этого до совершения преступления я не знал. Мир, в котором существовал я, был уже сплошной плоскостью: центр плоскости — я; явления, люди, вещи — вокруг меня, для меня, во имя меня. И никакого неба со всем своим невидимым: душа, духи, демоны, — бред и мистика. Мысль провести тот эксперимент с кассиром, как понимаю теперь, и была тем самым очередным бесовским Приражением, которое я не задумываясь воспринял как мысль свою, собственную, безобидную — не сказал ей «нет», не запретил ей во мне остаться, позволил ей утвердиться в моем сознании, оккупировать большую его часть и в конце концов — воплотиться посредством меня из идеи в действие.

Я продолжал жить: кушать детей, бегать в спортзал, слушать «Охоту на волков», осуществлять надзор за соблюдением норм законности. Предпочитая сидению в кабинете работу непосредственно на предприятиях, я много ездил, и мне то и дело приходилось проезжать дорогой, где мною был произведен тот самый эксперимент с кассиром. Увидев тот поворот, ту валежину, я сразу же вспоминал все связанное с тем эпизодом, снова возвращался мыслями к подробностям высказанной тогда версии, снова начинал перепроверять и переоценивать все. что говорил тогда; начинал что-то уточнять, дополнять новыми подробностями — доводя тем самым тот первоначальный сценарий ограбления до неуязвимости.

Рассуждая, как я тогда считал, сам с собою, я вдруг отмечал, что засаду, конечно же, правильнее всего делать не там, где предлагал я во время эксперимента, а вот там... за поворотом, там и дорога поухабистее, и деревья от самой обочины... Выйти — оттуда... уходить — туда... Ничего опасного в своих рассуждениях я не видел, воспринимая их как безобидное теоретизирование, тренаж логики, воображения — ничего более.

В действительности же это было ничем иным, как промежуточной фазой процесса материализации Приражения. Это

была стадия превращения теоретического Предположения, насыщаемого моими снова и снова повторяющимися мысленными прикидками о месте возможного преступления, о времени, о способе, орудиях, в облекающееся тем самым конкретным содержанием и формой реальное Действие.

Игра сатаны была аккуратна и тонка, так что я совершенно не замечал происходящих в моих фантазиях перемен. Их было две.

Суть первой заключалась в том, что если по первости в своих теоретических манипуляциях я рассуждал исключительно от имени некоего неопределенного, абстрактного преступника: подкарауливал — он, хватал — он, убегал — он, то, рисуя в своем воображении картину ограбления теперь, на роль грабителя я все чаще стал примерять себя самого. Уже не он прятался за деревом, а я, не им уничтожались улики — а лично мною. Примерив на себя костюм грабителя и раз, и другой, и третий, я, не имеющий к тому времени уже никаких, ни внешних, ни внутренних ограничений, почти сразу же нашел его для себя впору — притерся, приобвыкся и оставил его для себя навсегда.

СУТЬ второй перемены сводилась к тому, что моего первоначально просто грабителя я незаметно превратил в грабителя-убийцу. Иметь какой-нибудь самопал, обрез я разрешил ему в своих фантазиях с самого начала — напугать кассира, предупредить сопротивление водителя. Но в последующих рассуждениях я допустил, что в нашем краю каждый второй шофер если не охотник, то браконьер. В надежде пальнуть прямо из кабины но какому-нибудь лосю или кабану, шофера постоянно возят оружие с собой. «Мои шофер» тоже мог оказаться при оружии, мог не испугаться угрозы, и тогда я согласился, что в таком случае грабитель должен был быть готов к тому, чтобы убивать.

Разрешение убить далось не трудно: во-первых, это была не реальная санкция на убийство, а лишь фантазия, от которой, как мне тогда казалось, никакого вреда ни мне, ни кому-либо еще быть

не может. Во-вторых, отношение к слову «смерть», к слову «убийство», в силу моей профессиональной деятельности, у меня было в большой степени искажено: не только с этими понятиями, но и с самими этими явлениями я сталкивался почти ежедневно.

Началось все с того, что однажды на куче шлака был обнаружен труп мужчины. Доложившие мне об этом сотрудники милиции сообщили, что никаких видимых повреждении на трупе нет, смерть, скорее всего, наступила по естественным причинам, и потому на осмотр трупа я не выехал. В морге эксперт обнаружил, что смерть явилась результатом ножевого ранения. Это было убийство, однако в связи с тем, что осмотр места происшествия своевременно произведен не был, многие улики оказались утраченными. Преступление осталось нераскрытым, а я с тех пор установил для себя жесткое правило — на осмотр всех без исключения трупов выезжать лично самому. Таких случаев набиралось до десятка в месяц. Нередко случалось так, что еще вчера человек приходил ко мне с жалобой, допрашивался мною в качестве свидетеля, подозреваемого, улыбался, плакал, а уже через день я переворачивал, словно какой-нибудь куль, его, схваченный окоченением, раздавленный колесами, с вывороченными внутренностями, с развороченным черепом, труп. А рядом — бьющаяся в истерике жена, убитая горем мать, дети с распятыми непониманием происходящего зрачками. Не замечать их, не реагировать на эти зрачки я не мог, но, реагируя на них, я переставал быть следователем — я допускал брак: не замечал улики, забывал зафиксировать важную деталь, утрачивал доказательства, неправильно формулировал вопрос т. п. Соединить в себе Человека и Следователя я не сумел. Мне казалось, что в первую очередь общество заинтересовано во мне не как в Человеке, а как в Следователе, а потому от человечности, как от мешающего делу недостатка, необходимо было избавиться. У меня получалось. С годами я выработал в себе способность ничего не замечать: ни слез, ни воплей — не видеть и не слышать, в

детские зрачки — не заглядывать. Усилием воли я почти задушил в себе всякую чувствительность и эмоциональность, а вместе с этим и способность к сопереживанию, к состраданию, к восприятию чужой боли как своей собственной. То доброе, что многие люди утрачивают по своей небрежности, я истребил в себе целенаправленно, умышлено.

Потому-то, глядя на смерть человека сквозь призму такого вот, извращенного собственными же усилиями сознания, я не заколебавшись ни на минуту, предоставил право решать личные проблемы путем отнятия жизни у другого человека сначала герою моих фантазий, а в последствии, поставив на его место себя, и себе самому.

Безусловно, утверждать, что именно профессия сделала из меня убийцу — недопустимо, вся ее роль в моей деградации сводилась только к тому, что ее специфика только ускорила уже начавшийся во мне процесс духовного распада. Разрешение убивать мне было продиктовано моей гордыней, самомнением, самопревозношением, склонностью к небрежению интересами окружающих. Сформулируй я тогда свое жизненное кредо в двух словах, получилось бы нечто следующее: если всегда и во всем я добиваюсь успеха, самых высоких показателей и результатов, если я все время оказываюсь в числе первых — значит все: как я дышу, как я ношу шляпу, как я ставлю стопу, как я слушаю, какой цвет, звук, запах, фасон выбираю, с какого бока начинаю есть яблоко, как реагирую на дождь, на ветер, как рассуждаю, как поступаю, - правильно. Значит, все нужно делать не так, как делают все и получают средние результаты, а так, как считаю правильным я — и достигаю результатов гораздо высших. Значит, мое мироощущение, мировоззрение правильнее, чем мироощущение других. Значит, если мне говорят «нельзя», а мне кажется «можно» — значит «можно». Значит, если мне говорят, что убивать человека недопустимо, а мне кажется, что допустимо — значит убивать можно, значит разумнее и здесь я, а не все остальные. Так

как если бы правее были бы они, а не я, то не мне, а им бы сопутствовал успех, они бы добивались наивысших результатов, а не я.

Именно ради того, чтобы я, в конце концов, пришел к этому выводу, сатана и «помогал» мне, и организовывал мне «случайности и везения» — чтобы личное, собственное мнение я поставил надо всем и вся. К этому я и пришел.

Но пока что это оставалось в процессе развития — об убийстве я пока только фантазировал. Вскоре сценарий ограбления того, бывшего объектом моего эксперимента, кассира был мною обдуман и отшлифован до мельчайших деталей, но игра уже понравилась — я начал анализировать возможности ограбления кассиров и других предприятий, строил планы, версии, прикидывал степень риска.

Слабые места в системах обеспечения сохранности собственности входили в крут моих интересов и до этого. Но если раньше я выискивал в них какие-то прорехи для того лишь, чтобы потребовать их устранения, то теперь я высматривал их как потенциальный преступник.

Так, например, по какому бы вопросу не пришлось мне приехать в хозяйство, войдя в помещение, я сразу же отмечал про себя, что сигнализация хотя и имеется, но неисправна. Что металлической штанги на двери в кассу нет. Что решетка на окне висит всего на двух гвоздях... Возникновению у меня каких-то угрызений совести препятствовало, ко всему прочему, и то обстоятельство, что все выявляемые мною в ходе проверок нарушения я немедленно и подробнейшим образом отражал в тут же составляемых мною актах. О случае с Ковалевой, возвращавшейся тогда с 37 тысячами в сумке пешком, я доложил на бюро Райкома, и по данному факту было принято соответствующее решение.

По всем моим предписаниям обязательно что-то делаюсь, что-то исправлялось, устранялось, но при существовании в тот период в системе хозяйствования всеобщей безответственности, все

вскоре снова возвращалось к тому же беспорядку. И я все больше укреплялся в мысли, что кассиров и кассы у нас не грабят потому, что пока это просто не приходило еще никому в голову. Придя к такому заключению, я сделал для себя уже чисто практического свойства заметку: «В случае, если когда-нибудь мне вдруг срочно понадобятся деньги — я знаю где их взять, и я пойду и возьму».

Тем самым я как бы дал предварительное согласие уже на практическую реализацию плана совершения преступления, изъявил готовность к его воплощению в действительности. К этому прибавлю: согласие я дал как будто бы себе самому, но ощущение с этого момента и до самой развязки испытывал такое, словно принял на себя обязательство не наедине с самим собою, а в присутствии какого-то очевидца, так же как и я прекрасно осведомленного во всех тонкостях ситуации; словно дал клятвенное обещание, от которого не вправе теперь, да и как-то неловко, отказываться. И взгляд этого тайного очевидца не оставляет меня уже до самого момента пока я не выполнил обещанного.

Я был готов. Теперь дело оставалось за появлением повода к реализации плана, и, как ни нелепо это прозвучит — за подысканием какого-либо теоретического обоснования, которое должно было бы придать преступному намерению вид законности. Зло почти никогда не выступает под собственной личиной, легкоузнаваемой, старается обрядить себя и подать в виде какой-то добродетели — чего-то законного, почти допустимого. Как и любому преступнику, мне тоже, даже перед самим собой, претило выглядеть заурядным подонком-убийцей, тоже хотелось прикрыть свои действия чем-то красивым, подать свои действия не как преступные, а под видом какого-нибудь благородного протеста в защиту попранной справедливости.

Ничего нового, однако, в свое оправдание я не изобрел, демагогией воспользовался самой распространенной среди грабителей, суть которой, при отметении всех ухищрений,

непременно всегда и везде сводилась к одному: мое преступление, если разобраться, совсем и не преступление. Изымая принадлежащее Государству, я никого не граблю, я не беру чужого, я всего-навсего возвращаю себе свое, честно заработанное, но недоданное мне, недоплаченное, отнятое у меня при помощи всевозможных хитростей вот этим самым Государством. Отбирать свое — не грабеж, не преступление. Ну а материальные претензии к собственному Государству, стоит только поискать, есть почти у каждого — достаточно их было и у меня. Брехтовская строчка: «... Чистая Правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная Ложь...» — зазвучала уже девизом. И разглядеть какой-либо подвох во всем этом параде лицемерия я был уже не в состоянии.

Это было обоснованием.

Ну а потом возник и повод.

В тот год закончили учебу сразу две мои сестры. Одна, получив диплом, распределилась в соседнюю с моей область, получила жилье, начинала с нуля, и я счел себя обязанным ей помочь. Вторая сестра закончила школу, приехала ко мне и готовилась к поступлению в техникум. Заботы о ее содержании тоже ложились на меня. Ко всему к осени собрался жениться проживавший у меня брат. Предвидя большие расходы, я взял всю имевшуюся у меня денежную наличность и вложил ее через одного приятеля в одну коммерческую операцию. Операция принесла прибыль, предприятие казалось мне вполне надежным, потому деньги свои я сразу забирать не стал, оставив в обороте и ко всему, заняв у друга еще две с половиной тысячи, вложил в дело и их.

Вскоре мне сообщили, что наши экспедиторы вместе с поставщиками арестованы в г. Мары, в Туркмении, по подозрению в крупных хищениях. Потеряв все свои деньги, я оказался еще должным другу 2 тысячи.

Все эти неприятные известия я получил 3 июля, в день выхода из своего очередного отпуска. В тот же день в отпуск уходил мой

прокурор, исполняющим его обязанности, на время его отсутствия, был назначен я.

Своим домашним о свалившихся на меня проблемах я ничего не сказал, надеясь в ближайшие дни что-либо придумать, но в переданных мне прокурором материалах оказалось много срочного, потому первые несколько дней я ни о чем, кроме работы, не думал. К среде аврал пошел на убыль, рабочий режим стал входить в норму, и я снова вернулся к своим личным делам — к вопросу о долге и восстановлении потерянных средств.

Мой друг, несмотря на то, что срок возврата долга истек, не торопил, но когда я случайно столкнулся с ним на лестнице Горисполкома, я, ни с того, ни с сего, сам заговорил о деньгах и велел ему подъехать ко мне за долгом в субботу. Зачем я это сказал, почему именно в субботу — я не отдавал себе в этом отчета и сам. Но слово было сказано, и, связав себя еще и этим трехдневным сроком, я должен был что-то предпринимать.

Подчеркну, что даже и после этого никакой безысходности все равно не возникло - ничего такого, из-за чего необходимо было идти убивать человека, все равно не было. Деньги, которые я потерял, вложив их в коммерцию, были заработаны мною также на аферах, ни жена, ни кто-либо другой о наличии их у меня не знали, так что необходимости отчитываться за их утрату перед кем-либо не было. Вопрос с возвращением долга другу тоже решался. Для этого нужно было просто съездить в соседнюю область к теще и попросить у нее три тысячи, от которых я отказался по своей спеси, когда женился, но которые ею все равно были отложены и считались моими. Нужно было просто отказаться от игры в человека никогда ничего не просящего и, если и обращающегося к человечеству, так только затем, чтобы приказать или потребовать.

Оставался еще брат со свадьбой и сестры, но и с этим можно было постепенно уладить, так как к концу года я должен был получить, через подставное лицо, очередную «Ниву», на перепродаже которой получил бы достаточную на первое время

сумму. Со временем придумал бы что-либо еще. То есть никакой катастрофы, которая бы вынуждала меня идти на такое преступление, как убийство — не было.

Я же рассуждал иначе. Ехать к теще, «кланяться», передоговариваться с другом казалось мне чем-то унижающим мое достоинство, чем-то позорным. Четыре-пять месяцев, отделявшие меня от срока получения «Нивы», казались долгими. Меня уже не устраивало ничто, и причина, конечно же, была только в том, что, перебирая в мыслях все эти варианты, я уже ни на минуту не упускал из виду свою давно выхоленную, выношенную, давно зудящую идею об ограблении. Убить мне казалось делом более легким, нежели переступить через свое самолюбие и просто попросить, даже не у чужого человека, у теши, с которой находился в самых прекрасных отношениях и которая, конечно же, не могла мне отказать.

Это была все та же среда, в которую я встретил друга и велел ему приезжать за долгом, самый конец рабочего дня. Я еще сидел у себя в кабинете и делал вид, что пытаюсь найти не криминальный вариант решения проблемы. Позвонила Полякова, поздравила с выходом из отпуска, сказала, что послезавтра, в пятницу, приедет в банк за зарплатой, пожаловалась, что за время моего отпуска арестовали ее племянника и потому ей очень нужно встретиться со мной, кроме того, накопилась масса других вопросов ко мне, которые нужно в срочном порядке решить. Мы договорились, что в пятницу, как только она управится со своими делами в банке, сразу позвонит мне, я отвезу ее домой и по дороге обо всем переговорим.

Этот звонок прозвучал для меня сигналом к действию. В тот же вечер я взял карандаш и посекундно расписал весь план операции. В качестве объекта нападения я уже избрал конкретное хозяйство, конкретного кассира — т. е. Ковалеву, которая приедет вместе с Поляковой В пятницу.

Придя с работы домой, я посвятил в свои планы брата. С детства

привыкший считать, что все, что бы я, его старший брат, ни сказал — правильно, брат не воспрекословил мне и теперь. К тому же я заверил его, что все сделаю сам, а он только кое в чем поможет. Последний шаг был сделан, и теперь оставалось только дожидаться пятницы.

Спать я отправился полный решимости, однако уже утром моя решительность резко уполовинилась. На работу я ушел в легком волнении. К обеду возбуждение возросло еще, появилось какое-то внутреннее дрожание, и, перелопачивая план нападения снова и снова, я стал находить его более уязвимым, чем показалось с вечера. Обнаружил в нем просчет, потом другой, заволновался еще сильнее п, окончательно струсив, заявил себе, что план сырой, подлежит доработке, что нужно проверить и уточнить еще то-то и то-то, а значит, срок исполнения его нужно пока что отодвинуть. Я был уже готов совсем отказаться от своих намерений, но меня уже держало обещание, данное брату, потому пока что я решит просто перенести дату нападения на месяц, а за это время все еще раз обдумать и взвесить.

Брату, чтобы не давать ему повода заподозрить меня в нерешительности и непоследовательности, об истинных мотивах перенесения срока я решил не говорить, решил объяснить все возникновением какого-нибудь непредвиденного обстоятельства, вроде внезапно нагрянувшей из области проверки, пожара и т. п.

С Поляковой я тоже решил завтра не встречаться, и вообще всякие контакты с ней на людях решил свести до минимума — чтобы не попасть потом в поле зрения следствия. С этой целью я вызвал одного из своих следователей и поручил ему выехать в пятницу утром с проверкой в одно из самых отдаленных хозяйств района. Я отдал ему служебную машину — таким образом, подвозить Полякову мне было не на чем (вторая наша машина, и Полякова об этом знала, находилась в ремонте).

О том, что я действительно не желал никуда ехать, свидетельствовал и тот факт, что я тут же сделал несколько

звонков, выписал повестки и отправил секретаря развести их — то есть я обеспечил себе на пятницу до обеда полную занятость: вызвал для допроса 5-7 человек.

Брату, уходя в пятницу утром на работу, я велел ждать моего звонка. Следователь отправился в хозяйство в семь. С 9 часов начали подходить вызванные мною с вечера люди, и до И часов я проработал у себя в прокуратуре, никуда не отлучаясь.

Звонок от Поляковой раздался в начале 12 часа. Она сказала, что приехала с Ковалевой, что деньги получила, и спросила, где им меня ждать. Я сказал, что ситуация изменилась, что отвезти их не могу, так как вынужден был отдать машину следователю, а он до сих пор не вернулся. Она стала говорить, что вопрос с арестом племянника не терпит отлагательств. Тогда я предложил подойти ей в прокуратуру самой прямо сейчас, на что она ответила, что так она ничего не успеет — пока дойдет, пока обратно — говорить будет некогда, да еще и опоздает на электричку, а тогда придется ждать до вечерней или идти пешком, а у них тяжелые сумки.

В конце концов, мы договорились, что сейчас они идут на вокзал и, если у меня появится машина, я подъеду за ними если нет они уедут электричкой в обед, а завтра я приеду в их село сам и встретимся, где встречались обычно и все обговорим.

Тот факт, что весь этот разговор по телефону я вел в присутствии свидетеля — человека, которого я в это время допрашивал: я не попросил его выйти, не попросил Полякову перезвонить мне на другой телефон — еще одно свидетельство о том, что ехать убивать кого-либо я в тот день не собирался, а напротив — всячески старался от встречи с кассиром уклониться.

В том, что никакой встречи не будет, я был абсолютно уверен, так как следователь по всем моим расчетам мог вернуться не раньше 14 часов, электричка же проходила в 12. 30. Положив трубку, я услышал шум двигателя и, взглянув в окно, увидел остановившуюся у крыльца свою служебную машину. Следователь пояснил, что доехали они только до моста. Мост

разобран, рабочие сказали, что раньше чем через 2 часа не соберут, поэтому он побывал в другом, ближнем хозяйстве, потому и вернулся на три часа раньше. Это была первая «случайность» того дня.

Таким образом, транспорт, вопреки моему желанию, у меня появился. Но для меня это ничего не меняло, так как ссылка на отсутствие транспорта была лишь простой отговоркой, давая обещание Поляковой, я вовсе не собирался его исполнять. Я продолжал упираться: выслушав следователя и отпустив его, я продолжал допрос очередного свидетеля.

Проработал я минут пять. Снова зазвонит телефон. Начальник «Сельхозтехники» сообщил мне, что привез давно ожидаемые мною автозапчасти. Сказал, что если сейчас не подъеду, то смогу забрать их только в понедельник. Запчасти мне нужны были немедленно, оставив водителя заниматься ремонтом второй машины, я сел за руль сам и отправится в «Сельхозтехнику». Эти запчасти мы ждали более двух месяцев, то, что они появились именно в этот день — было второй «случайностью». В детской сказке лиса выманивала петуха из терема горохом. Меня из кабинета, где я намеривался отсидеться во избежание встречи с Поляковой, сатана выманил этим звонком. Выезжая из прокуратуры, я рассудил, что Полякова дисциплинированна и, конечно же, ждет меня сейчас на вокзале. Дорога же, по которой поеду в «СХТ» я, проходит через улицу от вокзала, да еще через широкий сквер. Так что риска встретиться — почти нет, за исключением, конечно, какого-либо недоразумения или случайности... Но я же был «везучий», и я решил, что, конечно же, проскочу.

По пути я завернул домой, чтобы сказать брату, что мероприятие не состоится. Объяснил это тем, что с утра внезапно был вызван в райком, просидел на бюро, где теперь искать кассира — неизвестно, потому пока все отменяется. Узнав, что я еду в «СХТ», брат сказал, что поедет со мной поговорить по поводу

изготовления тренажера со сварщиком.

В «СХТ» мы пробыли минут десять. На обратном пути я посадил в машину попутчицу, ревизора райфо, попросившую довезти ее до центра. Когда проезжали через площадь, женщина попросила высадить ее у Почтамта. Пока она сходила, я тоже вышел поздороваться с одним знакомым и в этот момент увидел выходящую из ателье Полякову. Она сказала, что Ковалева на вокзале, а она решила «добежать на минутку до ателье, передать кое-что знакомой...» Все мои старания увернуться от этой встречи оказались безрезультатными: использовав весь набор «случайностей», сатана все равно свел нас в этот день друг с другом лицом к лицу.

Таким образом, завравшись, я оказался меж двух огней. С одной стороны была Полякова, которая видела, что машину мне вернули, а потому оснований не исполнять своего обещания отвезти их в село у меня больше нет. Приведи я теперь какую-либо новую отговорку, она бы сразу поняла, что я просто вожу ее за нос.

С другой стороны, был брат, который знал, что Полякова — это как раз и есть тот самый кассир, за которым мы охотились, и который якобы уехал. Начни я отказываться везти Полякову теперь, он сразу же, как мне казалось, что-либо заподозрит, догадается, что я просто пошел на попятную, струсил.

Время на обдумывание вновь создавшегося положения у меня не было. Я решил, что раз от поездки уклониться не получается, я поеду, но грабить не будем. Брату же потом скажу, что действовать на авось, без плана, в таком деле - заранее обречь себя на провал. Тот план, который был предварительно составлен мною, теперь не годился, так как и встретились мы не тайно, а на людях, и ехали не на той машине, и не в ту сторону и т. д. Я велел Поляковой садиться, забрал на вокзале Ковалеву с сумками и мы поехали.

Всю дорогу говорила, в основном, Полякова. Я делал вид, что слушаю, сам же обдумывал, что скажу брату, когда поедем вдвоем назад. Потому, когда у очередной развилки Полякова показала

рукой направо, сосредоточенный одновременно и на том, что говорит она, и на своих мыслях, я механически повернул направо. Когда же, проехав метров сто, я сообразил, что еду не туда, и хотел остановиться, Полякова сказала, чтоб я ехал вперед, потом свернул на след и остановился на лесной поляне. Она сказала, что у них для меня сюрприз, и пояснила, что в воскресенье у Ковалевой день рождения и что это событие нужно отметить.

Где-то с этой минуты я уже почти физически почувствовал присутствие какой-то посторонней воли. Организовавшая «случайности» того дня: преждевременное возвращение моей машины, звонок о запчастях, встречу с Поляковой у7 ателье, действовавшая до этого момент скрытно, она словно вышла из тени и приблизилась ко мне вплотную. Я все еще тешил себя надеждой на то, что все равно мне удастся свести все к тому, что все, что я нафантазировал, напланировал, наобещал — несерьезно, просто игра, играть в которую я был согласен, но убивать человека по-настоящему — я не хочу этого и не могу7. Я как будто начал что-то понимать, о чем-то как будто догадываться, но ухватить суть уже не мог. Я продолжал отнекиваться, отказываться, но чувствовал, как эта чужая, многократно превосходящая меня по силе воля, неумолимо обступает меня, обжимает меня с трех сторон, теснит, оставляя мне возможность двигаться только в одном единственном направлении — к месту, где я должен был сделать то, что обещал.

Собственной своей воли я почти не ощущал в себе, се не хватило даже на то, чтобы возразить Поляковой, отказаться от их «сюрприза» — и я свернул, и проследовал, и остановился, как указала она. Женщины начали раскладывать закуски. Я отошел. За мной последовал брат. Мы оказались наедине

— я должен был распорядиться, должен был сказать «да» или «нет». Я хотел сказать «нет», мое желание стремилось именно к «нет», хотя говорить брату об истинных причинах отказа от своих намерений я вовсе не собирался и теперь. Я хотел только сослаться

на какое-нибудь обстоятельство, которое бы свидетельствовало о невозможности осуществления нападения теперь же. И этих обстоятельств, пока мы ехали, роилось в моей голове множество: и то, что есть свидетель моего разговора по телефону, где я обещал Поляковой отвезти их в колхоз; и то, что есть множество свидетелей, которые видели, как именно я посадил в машину и кассира и бухгалтера; и то, что у переезда мы столкнулись с милицейским «УАЗом», и милиционеры видели, что Полякова выехала из города именно со мной; и то, что у автобусной остановки я остана вливался по просьбе поднявшего руку при виде наших «Жигулей» моего знакомого, с которым я разговаривал, а стоявшие в это время на остановке люди, прекрасно знавшие меня в лицо, пристально разглядывали моих пассажирок — и все эти свидетели, в случае исчезновения наших женщин, немедленно укажут как на подозреваемого именно на меня.

Я мог бы сослаться хотя бы на то, что ни пистолета, из которого я собирался убивать, ни всего остального, что было приготовлено нами для убийства заранее, у нас с собой нет — так как мы ехали не на разбой, а всего лишь в «Сельхозтехнику», все это было оставлено дома.

Ни одного из этих аргументов я не привел. Впоследствии ни следователи, ни судьи, ни просто знавшие и не знавшие меня люди никак не могли понять, как мог я, следователь, профессионал, пребывая в трезвом и здравом уме, пойти на совершение преступления при наличии стольких изобличающих улик: более 30! только одних прямых свидетелей, все слышавших и все видевших. Это было равносильно тому, что убить человека на глазах толпы, среди площади, средь белого дня — и надеяться после этого не быть уличенным. На такое мог решиться или самоубийца, или сумасшедший.

Чтобы ответить на этот вопрос, не кому-то, не для оправдания, а только самому себе, разобраться, что же все-таки со мной тогда творилось, мне понадобилось около двух лет.

Говорившие, что я просто сошел с ума, были почти правы. В те минуты я действительно находился в состоянии частичного умопомрачения. Но это было не психическое расстройство, это было что-то другое. Если попробовать передать то ощущение словами, то грубо это выглядело так, словно мое сознание сузилось до понимания лишь происходящего вот в эту, текущую минуту: я не мог ни опереться на прошлое, ни предвидеть даже самого элементарного будущего: что после понедельника наступит вторник, после зимы весна. От активного понимания происходящего, от управления им все сводилось лишь к пассивному восприятию, к констатации, хотя и четкой и ясной, но не содержащей в себе зарода секунды будущей.

Кто-то сказал, что если Бог желает наказать человека, Он просто лишает его рассудка. Если уточнить, что Бог только отворачивается от человека и позволяет приблизиться к человеку сатане — ослепляющему, одурманивающему, то я скажу, что со мной произошло именно это. Я действительно потерял способность управлять своим рассудком. Сатана сначала парализовал мою волю, мою способность сопротивляться, а следом он отключил и мой рассудок. При этом я полностью сознавал и себя и действительность — все слышал, все видел, но при этом был лишен главного — способности реагировать на ситуацию адекватно, анализировать, сопоставлять, предвидеть, оценивать происходящее критически. Собираясь сказать брату «нет», я сказал «да».

Позже, вспоминая и осмысливая тот момент снова и снова, я объяснит себе появление этого «да» проявлением закона, принцип действия которого состоит в том, что когда по какой-то причине отдел человеческого мозга, отвечающий за аналитическую и критическую деятельность, оказывается вдруг заблокированным, человеку оставляется возможность воспользоваться мыслью, хранящейся в отделе памяти. Но память не создатель мысли, она лишь накопитель ее. Что человек накопил в ней — то лишь, в

критическую минуту, она ему и выдаст. (Пословица: «Что у трезвого — на уме, то у пьяного — на языке» — проявление этого же закона, с тем лишь отличием, что отключает рассудок здесь не сатана, а выпитое спиртное). Таким образом получается: накопил доброе — память выдаст, а язык озвучит, именно доброе. Накопил злое — память его и выдаст.

Когда блок создания мысли оказался отключенным и во мне, и когда ткнулся в свою память ощупью я, она выдала мне то, что находилось в ней на самой поверхности, что преобладало в ней: мое намерение ограбить, мое согласие убить — накапливаемое и лелеянное в течение последних десяти месяцев зло.

Ничего, кроме этого «да» я брату не сказал, никаких деталей не обсуждалось. Мы вернулись к машине. Все выпили, я отказался, сослался на якобы предстоящее после обеда совещание, отошел к машине и взял, всегда валявшийся в сумке с инструментами, нож. Вернувшись ко всем, я сказал Поляковой, что мне нужно обговорить с нею кое-что еще. Она встала, и мы пошли — сначала краем поляны, а потом углубляясь, все дальше в лес. Подлесок был густой, идти рядом стало неудобно, и я пропустил Полякову вперед. Она шла, рассказывая о положении дел в колхозе, не оглядываясь, ни о чем не подозревая. Оставалось взять нож и ударить. Я не смог.

Возможно это была всего лишь агония, последний всплеск еще каким-то чудом сохранившейся в каком-то колене меня, крохи человеческого. Возможно, что это был и просто результат просчета самого сатаны. Дело в том, что по моему предварительному плану я должен был стрелять, а не орудовать ножом. Обещание стрелять я действительно давал, но бить но-жом — никогда: этот нюанс и предоставлял мне теперь право протестовать, отказываться делать то, о чем никакого предварительного уговора не было. В мою память сатаной была заложена картина, как я стреляю, но сцены, где я убиваю человека ножом - в ней не было, и выдать мне такую сцену память не могла. В сатанинской сети это была прореха, и я

как будто понял, что имею право на отказ от обязательств, и это чувство собственной правоты, сатаной заранее не предвиденное, позволило мне отодвинуть момент развязки на какие-то минуты еще.

Я увидел перед глазами голую шею Поляковой, ее незащищённую спину, но заставить себя представить, как я наношу в эту спину удар, я не смог. Выхватив нож, я отшвырнул его в кусты и сказал Поляковой, что возвращаемся назад. На брата я старался не смотреть, велел всем собираться. Теперь брат сел рядом со мной, женщины сели сзади, и я тронулся.

По приговору суда мотивом, побудившим меня совершить убийство, указана корысть. Но сам я все же склонен думать, что деньги, корысть — были лишь поводом к совершению преступления, а главным, что вытолкнуло меня за пределы допустимого, было мое гипертрофированное самолюбие.

У Стендаля есть фраза: «... люди чрезмерно самолюбивые отличаются особенной способностью мгновенно переходить от раздражения против самих себя к неистовой злобе на окружающих».

Раздражаться и злиться на себя я начал чуть ли не сразу после того, как закинул нож.

Когда летишь на лыжах с яра, ощущение опасности упасть и свернуть себе шею гораздо больше, нежели когда уже съехал и смотришь на кручу снизу. Казалось бы временный разрыв — миг. И, тем не менее, этот миг уже есть гарантия того, что падение, которое могло бы случиться, уже не стучится. Этот миг — стена, позволяющая оглянуться на оставшуюся позади опасность — уже без страха и даже с удивлением: и чего, собственно, боялся?

Нож был брошен. Трагедия, которая могла случиться — не случилась, и, идя назад к машине я уже смотрел на переживания еще минутной давности, как на прошлое — как бы со стороны, с расстояния. Переживания остались там, я шел здесь, а между нами уже была стена нескольких минут. И чем дальше я отходил от

места, где бросил нож, тем толще и надежней становилась эта стена, тем меньшей казалась опасность, заставившая меня попятиться, тем противнее становился я себе самому.

Получалось, что я оказался неспособным справиться с делом, с которым справлялись те, кого я считал менее сильными, чем я: те обвиняемые и подсудимые, с которыми ежедневно сталкивался на работе, на кого смотрел свысока, кого судил и наказывал за их безволие и немощь. Получалось, что я был еще помощнее их, я категорически не желал это слышать, мое самолюбие закорчилось, но возражать мне было нечем — только что случившееся свидетельствовало именно об этом. И тогда во мне стала подниматься злоба.

Мои рассуждения о собственной слабости были, конечно же, бессмысленной мешаниной грешного с праведным, подменой понятий, где белое я называл черным, здравомыслие — слабостью.

Л между тем мы уже ехали, и я продолжал поносить себя, распаляясь от того все больше. От злобы на себя я тут же перекинулся к обвинению Поляковой за то, что нарочно попалась мне на пути и вынудила меня поехать сюда, к обвинению Ковалевой с ее днем рождения, к обвинению брата за то, что не остался дома и сидит теперь рядом и, конечно же, ждет, как я ему все это теперь буду объяснять. Я был раздавлен, и виновным в этом считал и себя, и всех их, особенно женщин — вовлекли меня в эту поездку, и уже почти ненавидел их

В эту минуту кто-то из них тронул меня за плечо и о чем-то спросил. Поворачивая голову, я нечаянно столкнулся с взглядом брата. Как всякий самолюб я был крайне мнителен, и я, конечно же, в ту секунду разглядел в глазах брата усмешку.

Потом, уже месяцы спустя, я спросил брата, о чем он тогда, в машине, когда наши взгляды встретились, подумал. Он сказал, что в эту минуту он был настолько рад, что все кончилось именно так, что все остались живы, что ни о какой усмешке не могло быть и речи. Он не только не осуждал меня, а напротив — считал, что и

на этот раз я принял самое правильное решение. Неправды брат не говорил мне никогда.

Но тогда, в ту минуту, я увидел только то, что померещилось моей мнительности, усмешку, которая могла означать одно — трус!

Страшнее этого слова для меня не было. То, что удерживало мою руку в лесу, в мгновение ока было сметено и уничтожено взрывом захлестнувшей меня ярости. Именно этот взрыв, это бешенное желание моего самолюбия во что бы то ни стало, любым способом, даже убийством человека, доказать брату, себе самому, всему миру, что я не слабак, не трус, и есть на мой взгляд то, что побудило, спровоцировало и заставило меня сделать и последний шаг. То, что оказалось не под силу корысти, сделало самолюбие. Это была ловушка, но, ослепленный приступом самолюбия, я уже не желал ничего ни видеть, ни слышать — я уже ХОТЕЛ убивать. Хотел этого сам.

Откуда возник новый план действия я не знаю, он просто возник и все, и я со всей лютостью кинулся к его исполнению.

Мы не отъехали от поляны и 200 метров. Я умышленно крутанул рулем чуть больше, чем следовало, и попал колесом в колею. Газанув для видимости раз-другой, я вышел из машины, взял из багажника топорик и, срубив несколько веток и бросив их под колеса, велел брату и женщинам тоже выйти и подтолкнуть машину сзади. Они вышли, я сел за руль, не включая скорости погазовал, снова вылез, подхватил с земли топорик и, сделав вид, что хочу срубить еще веток, сделал несколько шагов вдоль кустов и оказался за спиной у женщин.

Пытаясь доказать, что я не трус, я доказал другое — что я перестал быть человеком.

А потом был суд, камера смертника, помилование, этапы. И снова были сокамерники и попутчики, верующие, кто больше, кто меньше, в собственную Везучесть, объясняющие все свои беды стечением обстоятельств и досадной Случайностью. Люди, не

желающие верить в существование Бога и дьявола. Не желающие признать, что остаться нейтральным, ни присоединяясь ни к Богу, ни к сатане — невозможно, что, хочет того человек или не хочет, он обязательно будет принадлежать какой-то одной из сторон: если не с Богом — тогда обязательно с дьяволом. Я снова и снова слышал рассуждения людей, говоривших мне: «Будь у меня такой опыт работы с преступлениями и преступниками, какой имел ты, такое образование как юридический институт — да я бы ни за что и никогда не оказался бы за колючей проволокой!» Людей не желавших и слышать о том, что если доведенный нашим деланием мерзостей и подлостей до гнева Бог решит нас наказать, то ни глубочайшие познания в области юриспруденции, ни наличие пусть самого огромного криминального опыта ни от тюрьмы, ни от сумы, ни от прочих поражений и страданий не защитят и не спасут, и мой случай — нагляднейший тому пример. Я снова начинал рассказывать как упал со скалы, как загорелся двигатель в самолете «Ташкент — Москва» на котором я летел... Я засыпал за рулем, у меня обрезало перед светофором тормозной шланг, был случай, когда я опаздывал, шел ночью в сильный туман со скоростью около 60 и вдруг перед собой движущийся прямо по центру трассы трактор с выключенными фарами. Между нами оставалось не более 15-17 метров. Ни подумать о чем-либо, ни тем более что-то сделать я не успел, я только увидел. как трактор мелькнул от меня справа, а мою машину даже не качнуло, и я ехал дальше.

Я могу ошибаться, но я до сих пор склонен считать, что в одних случаях меня спасал отрицаемый тогда мною Бог, в другом же уводил от ответственности сатана, чтобы я вдруг не отказался от своих ложных принципов, чтобы оставался в тенетах своих заблуждений, чтобы однажды поднялся, вышел и убил двух женщин.

ЧУЖОЙ опыт большей частью остается невостребованным, почти никогда и никем не учитывается — каждый на свои грабли

старается наступать сам. Может быть, это в каких-то случаях и оправдано: наступит — быстрее поймет. Но только все грабли разные. Посте одних остается только ссадина, другие же пробивают лоб. И об этих пробивающих граблях, наступая на которые проливается еще и кровь невинная — любое предостережение может оказаться не лишним. Может быть и мое.

А совсем недавно ко всему услышал притчу о жившем у океана мальчике. Каждое утро после ночного шторма он шел на берег, собирал и кидал обратно в воду выброшенные на песок штормом морские звезды. Серенькие, маленькие, никакой особой ценности собой не представляющие. Долгое время наблюдавший за всем этим человек сказал мальчику, что океан выбрасывает миллиарды звезд, и оттого, что мальчик вернет в воду несколько десятков из них — ничего не изменится, что все его действия по спасению звезд — бессмысленны. Подняв с песка очередную звезду, мальчик сказал: «Лично для нее — не бессмысленны», - и швырнул ее в воду.

Может оказаться, что не совсем напрасно выходил сегодня на берег и я.

ЧАСТЬ 2

Загорелось глубокой ночью. Зимой. Мне было около десяти. Мачеха разбудила меня сбегать посмотреть, не отелилась ли корова.

Ночь была морозной и темной. Запах гари, не совсем проснувшийся, я уловил, когда пробежал уже до середины двора — повернул голову и увидел огонь.

Магазин СМУ был расположен от нас через забор — горел его деревянный склад. Промежуток меж боковой стеной склада и нашим сараем был забит сеном. Коснись огонь сена — сгорит не только наш сарай, по и все остальные, стоявшие один к другому впритык, по всей длине улицы.

Народ сбежался мгновенно, но погасить пожар подручными средствами было уже невозможно.

Я стоял на сугробе в огороде, метрах в тридцати — стерег, чтоб не разбежался согнанный туда из сараев скот. Огонь меж тем охватил уже весь склад. Сено уже дымилось. Ко всему внезапно налетел ветер — факел пламени резко наклонился в сторону сенника, полетели искры, кто-то бросился гасить их, кто-то закричал.

Закричал и я.

Все, что я знал к своим десяти годам о Боге, сводилось к тому, что слово такое действительно существует — попадалось иногда в книжках. И тем не менее — закричал я именно к Нему. Отсутствие знаний о Боге, не исключает знание Бога — запрокинул голову и закричал прямо в небо: «Бог! сделай, чтоб сено не загорелось!» Закричал мысленно, но изо всех сил, на какие был способен.

Каким-то краем сознания тогда же успел отметить про себя одну особенность: небо оказалось невероятно низким и черным. И чернота была необыкновенной. Как в плесах — густой и как будто замершей, по в глубине своей — живой и движущейся.

И еще было много звезд. Невероятно больших и молочно-

белых. И со светом не из себя, как обычно, а внутрь себя.

Впечатление было такое, словно всегда высокое небо, на какую-то секунду вдруг оказалось лежащим прямо на земле.

Но длительности это был какой-то миг. По сути — что-то похожее на выход за пределы себя, секундный приступ, очнувшись от которого, я тут же снова переметнулся всем своим существом в пожар - в его гул и суматоху. И допускаю, что окажись в тот момент кто-либо рядом со мной и напомни мне о моем, имевшем место не более как мгновение назад вопле, я бы поклялся, что ничего подобного не было. И отрицал бы все не потому, что не хотел бы в этом признаться, а только потому, что уже в следующий же миг после вскрика — абсолютно ничего не помнил. Все словно бы стерлось, мгновенно уничтожилось, в действительности же — только забылось, надолго, на целых два десятилетия.

А сено не загорелось. Чему не быть — того не миновать. Уже в следующую же секунду после моего крика что-то произошло. Разом исчез, ощущавшийся даже мною, отстоявшим от пожарища на столь отдаленном расстоянии, жар. Факел пламени сначала выпрямился, затем повалился в противоположную сторону и стал стремительно опадать.

Потом говорили всякое. И что случайно переменился ветер. И что товара на стеллажах в этой стороне, к нашему сену, было поменьше. И про растаявший на скирде снег. Работая впоследствии следователем, я провел, по разным делам, десятки пожаротехнических экспертиз. Объяснить то невозгорание нашего сена известными законами физики было невозможно. II большинство в конце концов, тогда так н призналось: на кота широко, на собаку узко — чудо.

Лично же мне тогда было абсолютно без разницы: ветер ли. чудо ли — мы не сгорели. Мои кролики-велики оказались целыми, а что до остального, то меня оно, как я тогда считал, совершенно не касается... А в сегодняшнем акафисте Богородице читаю: идеже Бог хочет — побеждается естества чин.

С той ночи прошло двадцать три года. Последнее заседание суда состоялось 7 сентября. За разбойное нападение, сопряженное с убийством кассира и сопровождавшего его лица, я был приговорен к смертной казни, брат — к 13 годам лишения свободы. Потом все одним кадром: аплодисменты части зрителей (очень неожиданные), последние поручения брату, возвращение из суда в СИЗО в «стакане», сбривание усов (тоже почему-то удивившее), переодевание, камера смертника №37 — уже хорошо знакомая.

... Это было в начале восьмидесятых. В составе бригады я расследовал дело о хищении бриллиантов. Обвиняемых было около двухсот человек, дело в суд отправлялось по мере расследования отдельных эпизодов. То есть, в то время как в отношении одних лиц все еще продолжалось следствие. в отношении других были уже вынесены приговоры. Четыре из них - к исключительной мере. Однако в связи с тем. что по находящимся еще в стадии расследования эпизодам приговоренные к расстрелу являлись основными свидетелями, работа с ними продолжалась и после вынесения им приговоров.

Я приходил к ним в течение шести месяцев. В самом начале возникла небольшая неувязка — чисто технического характера.

Суть. Я жил в гостинице недалеко от Следственного Изолятора. потому приходил туда чуть раньше других посетителей. Кабинет же для проведения процессуальных действий в корпусе. где содержались смертники, был всего лишь один. И потому полечилось: кто раньше встал — тому и сапоги. Занимая его вперед всех и на весь день, я тем самым лишал других следователей и адвокатов возможности работать с их клиентурой.

Посыпались жалобы. Мы предложили руководству позволить мне работать с моими смертниками прямо в камерах. С учетом того, что менее обременительного варианта решения проблемы найдено не было, а также примяв во внимание, что мои «бриллиантщики» хотя и числились по графе «особо опасные», но не были ни насильниками, ни убийцами, администрация на этот

невероятный прецедент согласилась.

Сами же смертники никаких претензий ко мне не имели, прекрасно понимая, что личной моей вины в том, что их приговорили к высшей мере, нет, потому относились ко мне терпимо.

В камеру меня заводили в 9, выводили в 17 — в течение всего дня я находился под замком вместе со смертником, или смертниками, так как братья К. И. и К. Н. содержались по одному. а Б. А. и К. Э. - вдвоем. Я ставил печатную машину на нары, раскладывал на постелях документы, и мы начинали работать - я спрашивал, они отвечали, и я печатал протокол.

Единственным моментом за все полгода моей работы с ними, который с большой оговоркой, можно отнести к разряду эксцессов, было обстоятельство, имевшее место в самом начале моих визитов.

Я сидел за машинкой. Б. А. ~ рядом. Ходивший по камере К. Э. остановился у меня за спиной, долго молчал, затем произнес: «А по голове... Терять-то нечего...» Я обернулся. Глаз не увидел (лампочка была позади него) и сказал первое, что пришло на ум: «Больше чем мне...»

Насколько уместной была тогда та моя фраза, я понял только, оказавшись в статусе смертника сам. К. Э. в тот момент уже знал истинную цену жизни — за возможность снова «просто посидеть под яблоней» готов был отдать многое, я — нет. И решись он в тот момент совершить что-то против меня, еще не понимавшего толком, что такое просто жить, он тем самым лишал бы последней надежды остаться в живых (по акту помилования) и самого себя. Выставлял бы свое, уже неистовое, желание жить, против индеферентного моего — терял бы в результате этого в тысячу крат больше чем я, даже не подозревавший в тот момент о подлинной ценности того, чего лишаюсь.

Этот эпизод мы обсудили в тот же день. «Хотел посмотреть — сказал он — как поведешься». И я видел — действительно, просто проверял мою реакцию.

Таким образом, за все полгода моих к ним визитов, этот случай был единственной имевшей место меж нами неловкостью. В остальном же наши отношения носили вполне доверительный и даже взаимовыгодный характер.

Так лично для них, пребывающих в ожидании — расстреляют не расстреляют, изолированных от всего и вся, мои посещения были некоторым решением таких вопросов, как: информационный голод, дефицит общения, избыток свободного времени, и даже просто оперативное решение вопросов их быта. Я же был для них и единственным каналом их связи с родными — вся их переписка происходила исключительно через меня.

Но главное: мои визиты служили им своеобразным ориентиром. «Пока ты будешь приходить ко мне — это мне высказал как-то К. Н. — меня не расстреляют: значит, я еще нужен как свидетель».

Определенную выгоду от общения с ними получал и я. Она заключалась в удовлетворении моего, и профессионального и чисто обывательского любопытства. Они интересовали меня и как люди, приговоренные к казни: как ведут себя в ожидании расстрела, о чем говорят, о чем думают, и как самые настоящие миллионеры, для которых уже тогда не существовало таких слов как «невозможно» или «нельзя», которое уже в те «времена развитого социализма», просто куражась, могли сделать официантку секретарем Обкома, лейтенанта — генералом. Для которых ничего не стоило остановиться посреди площади, помыть на глазах у инспектора машину шампанским, а йогом его же заставить на коленях извиняться «за превышение им своих служебных полномочий».

Не находя в себе, как и всякий живущий, никакого предощущения собственной конечности, они гоже до последней своей минуты ошибочно называли свои предчувствия потусторонней собственно-личностной продолжаемости предчувствием получения благоприятного ответа на своп ходатайства о помиловании от правителей исключительно

посюсторонних. И спасения ждали от них. друзей-приятелей, «отцов и города и городов» — о чем свидетельствовали их не прекращавшиеся колебания: дать ли на них изобличающую информацию — отомстить за то, что те, годами питавшиеся из их карманов, когда настал момент истины, впали в амнезию, и позволили суду приговорить их к смерти, шли все же подождать еще — вдруг о них все же вспомнят и спасут.

О смерти и посмертии — они не заговаривали ни разу. О раскаянии из четырех пытался рассуждать только К. Э., но и он всякий раз оговаривался, оправдывался, что виноват больше не он. а гот. кто устроил мир так, что «самые красивые цветы всегда растут на самом краю бездны».

Будучи по возрасту вдвое старше меня, он пытался что-то объяснить и мне. От чего-то предостеречь. Цитировал, совершенно не воспринимаемого мною тогда Клячкина[*]: «всегда опасны люди, когда мы их не любим», и тут же снабжал меня надежным адреском, где мне за полцены отдадут «Стечкина[†]...»

Иногда я задирал их: ну почему — украл 300 тысяч, 500, миллион, почему не сказать себе: достаточно? Они отвечали по-разному. но по сути все сходились к одному: санки на полгоры не остановишь — это уже вне собственных сил летящего. Я слушал, но верить в то, что человек может дойти до такой степени безволия, отказывался.

Для того, чтобы коснуться еще одного нюанса, необходимо на минуту вернуться в первый год моего студенчества.

У друга был день рождения. Приятели, все спортсмены, к алкоголю совершенно не привыкшие, мгновенно захмелели. Я стал наблюдать за ними. Я сидел напротив сокурсника и минут десять пристально следил за тем, как он, комично шевеля бровями. губами, безуспешно пытался произнести тост. Когда же меня

---

[*] *Евгений Клячкин - российский и израильский поэт, бард.*

[†] *Автоматический пистолет Стечкина.*

попросили подняться, я с удивлением обнаружил, что и сам едва стою на ногах. Не притронувшись к спирт ному — я был пьян. Сознание оставалось ясным, по координация движений была нарушена, язык заплетался, а на трамвайной остановке друзьям пришлось втаскивать меня в вагон за руки. Из трамвая, минут через двадцать, я вышел уже вновь совершенно трезвым. Друзья решили, что в тот вечер я просто ломал комедию. Я же посчитал, что наоборот — кто-то разыграл меня: подмешали мне спиртное в крюшон.

Однако в последующем, это опьянение без употребления алкоголя, я испытал на себе еще несколько раз. Я заметил, что эффект этот является результатом лично моего, непроизвольного самовнушения. Пристально всматриваясь, вслушиваясь в пьяного человека, я силой своего воображения, как бы вхожу в обличье этого пьяного, и начинаю ощущать себя как бы им.

Захмелеть непроизвольно, разобравшись во всем этом механизме, я больше не мог, потому никакого значения этой особенности своего организма я не придавал.

И вот несколько лет спустя я сидел в камере у К.И., задал ему вопрос и пристально вслушиваясь в то, что он начал рассказывать, вдруг ощутил прилив страха. Возникло, как будто совершенно ничем не спровоцированное чувство, что меня больше не выпустят, что мне придется остаться в этой камере, вместе с К. Н., навсегда. Не допечатав предложения, я бросил работу и застучал в дверь.

Потом это повторилось, потом еще. Ни с того, ни с сего возникала вдруг мысль, что все, на этот раз уж точно, хоть застучись, и не подойдут и не откроют.

Никакой клаустрофобией я никогда не страдал. И я отмахивался: переутомление. «... С утра до вечера без движения... Табачный чад и цифры... цифры: количество сделок и сколов — размеры, даты, караты... У кого угодно мозги воспалятся...» Я делал небольшой перерыв и снова заставлял себя сесть за

машинку. Однако мысль не исчезала, страх не отвязывался, и. в конце концов, я все же терял терпение и чтобы снова доказать, невесть кому, что все это просто наваждение, поднимался, вызывал охрану и уходил.

Анализируя тогда же природу этих страхов, я заключил, что причина их — то же самое: чрезмерная концентрация моего внимания на человеке, с которым контактирую. То есть, работая со смертниками, внимательнее чем требуется, вслушиваясь в их голоса, всматриваясь в их лица, вчувствываясь в их переживания, рисуя воображением описываемую ситуацию, я из слушателя превращаюсь в действующее лицо описываемых обстоятельств, в того, с кем это происходило на самом деле. Снова, как и в случаях с пьяными «влезаю в их шкуру», попадаю на «их волну звучания» и начинаю чувствовать наиболее громко звучащие в них переживания.

Из этого следовало, что моя боязнь остаться под замком навсегда — это всего лишь страхи моих смертников. Это не я боюсь остаться под замком — а они. а лично моя проблема заключается только в том, что я снова позволил себе слишком глубоко вникать в состояние тех, с кем общаюсь — теперь допрашиваемых «бриллиантщиков».

Случайного ничего нет. Понимая это теперь, предполагаю, что с теми безотчетными приливами страха остаться в камере навсегда (пожизненно), каким-то образом был связан и вот этот, на первый взгляд, отстоящий от темы совсем в стороне, эпизод.

Выдавленный как-то в очередной раз из камеры страхом, я зашел в гостиницу, бросил машинку и вышел в город. На улице было мое: всегда успокаивающее — морось с крупными хлопьями снега. Брел без цели, по оказался возле Успенского Собора. Ничего не желал, ничего не запрещал, и ноги провели по ступеням вверх, под арками, в Храм. Впервые в жизни.

Никто не прогнал. Шла служба. Людей было немного. Сухо. Тепло. Мерцание свечей. После удушья и обреченности камеры,

где хотя н очень виновные, и совершенно чужие, но все равно люди, ждали часа своего умерщвления, контраст был разительный. Неделями собранное в пружину сознание вдруг разжалось.

На следующий день я пришел в Храм уже умышленно. Поздно вечером. Хотелось. Попал на службу, посвященную какому-то большому празднику. В тот раз было и людно и торжественно. но тоже хорошо. Всё сияло и пело. Пело с клиросов, пело с балконов напротив солеи - притираясь к чужому празднику загнусавило что-то и во мне.

В этот момент распахнулись царские врата н из них, неся образа и хоругви, стал выходить клир. Хоры запели еще величественнее — увлекаемое всеобщей радостью мое во мне тоже бестолково заелозило, тоже собралось было «в горняя», вдогон за всеми - затрепыхалось, растопырилось — и вдруг пресеклось.

Это был какой-то молоденький, чтец ли, дьякон ли. С хоругвью в руках, в стихарени, в мелькающих из-под ризы на каждый его шаг кроссовках фирмы «Адидас». «Адидасы» в те годы можно было увидеть в основном на тех, кто торговал на рынках мандаринами, занимался «Фарцовкой». Моими же убеждениями и то время были кличи: «Наши люди на такси в булошную не ездят!»

Я протолкался к выходу и ушел. Шел по улице и ерничал над собой за то, что снова, словно ребенок, чуть было не попался на игру «очередных ряженых». «Очередной балаган•> чуть было не принял за что-то подлинное...

Размеры истинной своей наивности, истинной глупости тогдашней своей реакции на эти кроссовки причетника я осознал годы спустя. А тогда, в порыве своего невежества и максимализма, я перепутал Богово с Богом, Христово с Христом, внешнее и второстепенное — с сущностью.

Почему и для чего я был допущен тогда к работе с приговоренными к смерти, и даже более того — в сами «камеры смертников» (в нарушение всех существовавших тогда законов и норм), сегодня тоже и понятно и очевидно. Это было одним из

последних предупреждений: приостановиться, оглянуться, отказаться от ложных ориентиров; и чем-то вроде приготовления к предстоящему испытанию — проявлением Его милосердия и благости: попади я в камеру смертника без этой предвари-тельной подготовки, прямо «с улицы» — я бы не выжил. Мои бриллиантщики-смертники, кричавшие мне во все мои глаза и уши, и своим затравленным и поведением и видом, и предупредительными советами, и страхом несвободы — не воспринятые мною Лазари (Лук. 16: 19).

Таким образом, что такое камера смертника, в отличие от других приговоренных к высшей мере, я знал. Потому и в этом отношении, по сравнению с другими, мне было легче.

И тем не менее, когда переступил порог камеры, теперь уже в качестве смертника, ощущение легкого одеревенения все равно возникло. Воспринималось оно как дискомфорт, но как состояние ожидаемое и объяснимое. Неестественным же показалось, возникшее одновременно с общим притуплением чувствительности, ощущение необычной, и как будто совсем неуместной размагниченности, легкости. Какого-то высвобождения. И не «из-под», а наоборот – отстранение самой, всю жизнь ограничивающей свободу дыхания, всякого волеизъявления тяжести.

Возможно, кто-то усмотрит в этом нечто связанное с перегрузкой нервной системы. Длительное, в период следственно-судебного разбирательства, напряжение. Затем развязка, резкое расслабление, и как результат — некая нервно-мышечная эйфория. Самому же мне видится в этом нечто иное.

Во-первых, никакою «резкого» расслабления в моем случае не было. Внутреннее зажатие держалось во мне еще более недели. Я совершенно сознательно не позволял себе обмякнуть, опасался этого, в то время как четкое ощущение расширения внешнего (вокруг меня) пространства, возникло во мне сразу же, едва я вошел в камеру.

Во-вторых, независимо от того, желаем ли мы признавать это или нет, по помимо нашей «нервной системы» существуют еще и Бог и сатана. И он, последний, сопровождающий убийцу до самого порога камеры, порога этого не переступает. Привалив голель, он уходит на поиски следующей овцы, и вся эта, так остро ощущаемая легкость, есть лишь свидетельство резкого исчезновения годами довлевшей над человеком сатанинской воли...

Брошенная в кипяток лягушка — гибнет. Если же ее посадить в холодную воду, которую потом нагревать постепенно, лягушка адаптируется и будет жить при очень высокой температуре. Та же аналогия прослеживается в случае с приговоренным к смерти. Происходит нечто следующее. Перед тем как захлопнуть ловушку, дверь камеры, сатана, всю жизнь старательно завешивавший глаза человека искажающими действительность шорами — вдруг срывает их.

Расчет прост. Внезапно прозрев и увидев, и себя самого, и всю свою ситуацию во всей ее чудовищной подлинности, приговоренный должен прийти в ужас и тут же наложить на себя руки - перейти и последнюю черту.

И известно, что в каких-то отдельных случаях, по одним, лишь Богу ведомым причинам, Он попускает сатане довести его (сатанинский) умысел до конца — и тогда приговоренного находят в петле.

В большинстве же случаев Господь не позволяет произойти подобной развязке. Он вмешивается. В момент, когда сатана свои шоры с приговоренного срывает, Господь как будто тут же накладывает на его глаза другие, уже Свои повязки, смысл которых - рассрочить прозрение приговоренного, исключить момент внезапности, который может ввести в состояние шока и загнать в петлю.

Сам же Господь Свои бинты снимает потом, слой за слоем. Подлинные размеры катастрофы открывает смертнику небольшими фрагментами - ровно по столько, сколько способна

выдержать его психика без впадения в бесповоротное отчаяние.

Не пытаясь утверждать, я все же предположил бы, что именно этим обстоятельством — наличием на смертнике именно вот этих вот Божьих повязок, во многом объяснима та закономерность, что в подавляющем большинстве случаев, после вынесения убийце приговора проходит и неделя, и две, и пять, а он по-прежнему продолжает оставаться в состоянии полнейшего неосознания того, что он натворил, и какова подлинная степень опасности его положения.

Большинство смертников, с которыми мне потом приходилось обсуждать эту тему, также отмечали наличие в первые, послеприговорные часы и дни, вышеупомянутых мною одновременно и легкости, и одеревенелости, и абсолютной неспособности видеть и понимать подлинные масштабы произведенных ими разрушений...

Спустя почти десять лет, прошедших со дня моего последнего визита в камеру №37, она выглядела теперь чуть-чуть иначе. Вместо серой «шубы» на стенах — гладкая синяя краска. Вместо деревянной тумбочки — вмонтированный в бетонный пол металлический короб. В остальном по-старому: сводчатый потолок, решетки на окне и на нише над входом — в который запрятана лампочка.

Возможно, стоит отметить и то, что движение времени, шелест сгораемых секунд, в камере смертника слышится осязательно — и ухом и кожей.

Что смертников семь, я восьмой, мне сказал заступивший в ночную корпусной, знакомый еще по дням работы с бриллиантщиками. Он пытался обнадежить, но мы оба прекрасно знали, что из 58 приговоренных в нашей области за последние десять лет к высшей мере, не был помилован ни один — даже пи один из моих бриллиантщиков. (И тем не менее какое-то действие его слова на меня произвели: его имя, Виктор, я произношу в своем утреннем правиле и спустя 15 лет...)

Весь процесс, от момента вынесения приговора до приведения его в исполнение, мне был известен. Времени у меня оставалось в пределах от 4 до 6 месяцев. Чтобы их чем-то занять, я попросил протокол судебного заседания, затем написал - по чиновничьей привычке к соблюдению ритуала — ходатайство о помиловании.

Следующее, что казалось в тот момент важным, это подготовиться к минуте, когда поведут: все еще заботило «не криво ли на мне шапка», выдержать до конца позу — «не застучать у стенки коленками».

С самой процедурой расстрела, теоретически (проходили в институте), я тоже был знаком. Настоящего страха смерти не было. И речь не о какой-то храбрости, а об элементарной эмоциональной и духовной тупости. Об отсутствии способности испытать какое-либо чувство, даже такое примитивное, как страх по-настоящему, глубоко и остро.

Обычный, в форме мелкой трусости, был, по и он в значительной степени подавлялся. Отчасти — пониманием абсолютной справедливости возмездия. Я убивал — за это убьют меня: где постелил там и спи — всё честно. Отчасти мыслью, что сам момент расстреливания — дело минутное: перетерпеть минуту, какой бы мучительной она ни была, можно. «Не я первый — смогли же пройти через это другие...», и т. д.

Звучащее же во мне знание собственной непресекаемости я. совершенно разориентированный, воспринимал как голос собственного рассудка, пытающегося выдавать мне желаемое за действительность.

Не лучшим образом у меня обстояли дела и с чувством подлинной вины. Вины как виноватости. Оно тоже, если и присутствовало во мне в тот момент, то тоже в совершенно извращенном состоянии и в ничтожном количестве. Ничтожность эта была обусловлена несколькими причинами.

Во-первых, моим эгоизмом: сначала я, все остальное лишь после того, как будут решены лично мои проблемы.

Во-вторых, огрубелостью сердца. Степень духовно-нравственной деградации во мне была столь велика, что проникнуться настоящим состраданием к кому-либо кроме самого себя — я был просто не способен. Сказать, что жалость во мне отсутствовала абсолютно, было бы тоже неправдой. Жалко было всех. И убитых с их близкими. И брата с его навсегда изувеченной судьбой. И обреченных на лишения жену и детей. Но жалость эта была не той, не из сердца, а холодно-рассудочной — никаких чувств, исключительно лишь голые силлогизмы — ничего не производящие. Чувство же виноватости есть плод лишь совместных усилии ума и сердца, мои же сердце и ум, в дополнение ко всем прочим моим отклонениям от нормы, действовали во мне совершенно разбалансирование каждый сам по себе.

Как еще одну причину отсутствия во мне виноватости я бы назвал, уже упоминаемую мною выше, трусость. Нагадив, я, как и всякий мелкий накостник, старался теперь убежать и спрятаться. От всего и от всех. Не вспоминать, не думать, улизнуть и скрыться – пусть даже в самой смерти, только бы не смотреть на мучающееся, растоптанное и преданное.

В одной из проповедей митрополит Антоний Сурожский вспоминает случай из своей биографии, когда трехмерность времени для него исчезла, сжавшись до одномерности.

Нечто подобное происходило в те дни со мной. Прошлое и будущее моей жизни, вдруг, словно края бересты скрутились в узкую полоску: «вчера» и «завтра» исчезли, осталось только «сейчас».

Так взгляд в будущее стал для меня больше невозможен. Оно было отсечено от меня приговором суда: впереди были только смерть и пустота. Оглядываться же в свое вчера было и противно и жутко: свое прошлое, стараясь как можно подальше запрятаться от поражения и позора, я, тем самым, отсекал от себя лично сам. Отсекая же его, я отсекал вместе с ним и все содержащиеся в нем

причины и поводы для покаяния — материал для зачатия во мне этого самого чувства виноватости. С водой — и ребенка.

Что же касается механизма этого отсечения «вчера» и «завтра», то все сводилось к тому, что я запрещал себе вспоминать и думать. И, на мой взгляд, не позволять себе думать и вспоминать — борьба с собственной головой, упорно не желавшей отказаться от своей привычки все время что-то перетрясать и пережевывать — вырываясь при этом взорами то во «вчера», то в «завтра», в камере смертника и есть самое трудное.

Борясь со своей головой, я всеми силами старался удержать свои мысли в этой узкой полоске, в «сегодня», в «сейчас», и даже не в пей, а над ней. Старался отсекать все, что могло вывести меня из этого спасительного состояния виса и заземлить.

Одним из самых доступных средств зависнуть над действительностью были газеты и книги — даже не прочитанные, а буквально исследуемые смертниками от точки до точки.

Газету выдавали одну, пять раз в неделю, книгу - одну на десять дней. Разрешалось выбирать. Стаднюк или Фаст. Толстой или Моэм — значения не имело, лишь бы потолще — «на подольше». Однако какого бы объема ни была книга, прочитывалась она за сутки, в один присест. И чтобы в остающиеся девять голова снова не принялась за думанье, я занимал ее каким-нибудь цитированием, заучиванием всего, что попадалось на глаза. Повышенная способность к запоминанию - тоже одна из особенностей состояния приговоренного к смерти. «.. Самая быстродвижущаяся звезда в созвездии Змееносца... Головка спички состоит из 16 компонентов...Имя жены Третьякова – Вера Николаевна...» — 15 лет. а втемяшенное в те дни остается в памяти, словно вдавленное траками. Что угодно — лишь бы подальше от «сегодня», от самого себя.

Оспаривать, что всякое бегство от действительности — трусость, нет смысла,. это аксиома. Аксиомой же является и то, что в средство спасения человека Бог может обращать и само зло (и ту

же трусость).

У В. Солоухина есть: жить на земле, душой стремиться в небо — вот человека редкостный удел. И само слово «человек», антропос – вверх обращенный. И мне временами кажется, что в том моем убегании от действительности, кроме трусости, негативного, присутствовала и доля позитива. А именно: уход от заботы дня, сиюминутности — «не заботьтесь, что вам есть или что пить» (Лука 12: 29), потому что «одно только и нужно», что не отнимется (Лука 10: 42). И потому, возможно, вопрос не столько в том, убегать или не убегать, сколько в том — куда именно. Тридцать два года, уподобляясь шарахающейся меж крыльев не-вода рыбе, я совсем упустил, что мир. это не только горизонтальная плоскость - ширина и длина, что в нем есть еще и высота - вертикаль. Что для того, чтобы быть свободным и счастливым всего-то и нужно — переменить направление: рыбе — движения, мне — взгляда. Ей — чуть подпрыгнуть, мне — повернуть сердце от рассыпанного до самых ворот живодерни гороха к небесам, где «нет — беса», но есть Он.

А потому убегающий в камере смертника от действительности. боящийся сунуться как в свое будущее, так и в свое прошлое, зажатый меж ними как в тисках, я вовсе не сам, а самой ситуацией стал медленно выдавливаться вверх...

Четвертой причиной, которая, на мой взгляд, препятствовала возникновению во мне чувства виноватости, был мои рационализм. Так стоило во мне появиться лишь намеку на какое-то сочувствие, сострадание к тем, кому причинил зло, я тут же истреблял его какой-нибудь антитезой своей извращенной целесообразности. «Выплеснутую воду назад не соберешь. Ну начну еще и я здесь биться головой — станет от этого хоть кому-то легче?..»

Убийцам почему-то часто задают вопрос: ну а случись чудо, все вернулось к роковой минуте — убил бы снова? Мне кажется, что эго вопрос риторический: убийцы, естественно, отвечают только

одно: «Нет». Но можно ли принять это «нет» за первые проблески покаяния? Конечно же, нет. Действительно, чтобы убитые оказались вновь живыми, больше всех (исключая родных убитого) желает, конечно же, сам убийца. Однако руководствуется он при этом, в подавляющем большинстве случаев, отнюдь не сокрушением о содеянном, не состраданием, а в первую очередь, конечно же, все тем же инстинктом самосохранения, стремлением спасти собственную шкуру: оживи сейчас каким-либо чудом мои потерпевшие — автоматически возвращаюсь в свое благополучие я.

И еще одно обстоятельство, имеющее отношение к вопросу о виноватости, о нем говорит святой праведный Иоанн Кронштадский. «Не признавай свои слабости как свои собственные, а признавай как дела дьявола в твоем сердце, и тогда тебе легче будет признать себя неправым». Я не о том, что у «сильного всегда всесильный виноват», что все нужно валить на дьявола, но мне кажется, что, имей, я в то время хоть какое-то представление о существовании у меня такого подельника, одурачившего и погубившего стольких и таких - не мне чета, «которому и проиграть-то не так уж и стыдно» — мне кажется, мне было бы тоже гораздо легче уже с самого начала признать себя и виновным и виноватым.

Таким образом, на тот момент я имел: вместо образумляющего Страха — трусость. Вместо выводящей к покаянию Вины — саможаление.

Сколько именно дней, недель я оставался в этом состоянии полувменяемости, наверное, и не столь важно. Важно то, что потом все же наступил и тот день, когда уберегший и меня от внезапности прозрения Господь, снял первый слой повязок и с моих глаз.

Что-то стало меняться. Убавилось количество движения и звука. Соотношение между чувственностью и чувствительностью стало смещаться в пользу последней: накал эмоций пошел на спад, остроты восприятия прибавилось.

Казалось бы, это должно было заставить меня еще усерднее отбиваться от действительности, происходило же обратное - я стал пробовать оставаться на месте, начал, сперва потихоньку, по потом все увереннее оглядываться во вчерашнее.

Говорить о какой-то адекватности моих реакций, которыми сопровождались эти мои первые оглядки нет оснований. И тем не менее постепенно, от недели к неделе, я начинал все четче различать действительные характеристики вещей и позиций. И как мне представляется, весь тот процесс рекультивации моего сознания происходил сразу по нескольким, параллельным направлениям. Для простоты изложения я бы объединил их, чисто условно, в неких три, и первое из них озаглавил бы так: окончательное признание мною собственной несостоятельности.

Окончательное потому, что частично проигравшим я себя к тому монету уже признавал. Признание это возрастало во мне по мере развития событий – от момента совершения убийства, до минуты вынесения приговора.

Так первым своим поражением я признал сам факт совершения мною преступления. Расценил его как проявление слабости. Допустил легкомыслие... Позволил себе пойти против собственного же рассудка — против самого себя...» Совершил то. чего, казалось, вовсе не хотел — бессмысленный, дикий, не подлежащий даже собственному оправданию поступок.

Однако воскресить мертвых было невозможно — потому самоуверенности и спеси во мне сразу поубавилось. Вместе с тем захотелось хоть как-то, хотя бы частично, хотя бы как профессионалу. самореабилитироваться. Я решил попробовать посопротивляться. побороться, как следователь против следователей. Потому спустя сутки после происшествия, когда унялась дрожь, я взялся за дело уже действительно со всей профессиональной серьезностью.

Во-первых, принял меры но сокрытию трупов. Ночью, пешком. так как все дороги и проселки были сразу же перекрыты

согнанными со всей области солдатами и милицией, мы с братом пробрались к месту, где остались лежать убитые, и произвели их захоронение.

В течение последующих суток я уничтожил все прочие следы и улики, разработал и запустил механизм обеспечения алиби, просчитал и продумал теперь уже, казалось бы, все до мелочей.

Самым слабым звеном моей оборонительной позиции был брат. Его могли переиграть, и самым верным было - вывести его из игры вообще. Я поставил перед ним задачу: молчать. Я объяснил ему, что в деле расследования преступлений, даже самый безграмотный следователь всегда сильнее самого хитрого подследственного. Я сказал ему, что всю игру со следствием буду вести только я один, а любое им, братом, произнесенное слово, будет орудием исключительно против нас самих. Я предупредил его и о том, что ему могут говорить, что я признался, и будут требовать, чтобы признавался и он; будут предъявлять всевозможные, якобы изобличающие нас доказательства, протоколы, заключения экспертиз — что все это будет не более чем следственный спектакль и подлог.

Предусмотрев, казалось, все возможные варианты развития событий, я на всякий случай предупредил его и о том, что если следствию все же удастся привязать нас к убийству К. и П., то тогда я сделаю все так, чтобы судили только меня. Я объяснил ему, что это будет не трудно, так как мы единственные очевидцы преступления, и какую картину я нарисую, так и будет записано в приговоре.

Объяснять брату дважды никогда не требовалось, именно с ним, средним из моих братьев, мы воспринимали мир совершенно одинаково, понимали друг друга с полуслова, и я был уверен в нем, как в себе самом. На его: «Посмотрим...», в ответ на мои слова, что отвечать буду за все я один, я в тот момент даже не обратил внимания. Мне не могло прийти в голову, что мой брат может меня ослушаться (в то время как он уже тогда принял собственное,

отличное от моего, решение).

Что касается тактики избранной мною защиты, то за основу я взял процессуальный, неоднократно периодически встречающийся в правоприменительной практике принцип: нет трупа — нет убийства. (А трупы следствием обнаружены не были). На первом же допросе я так и заявил, что К. и П. из банка я действительно подвозил, но не до самой деревни, так как очень спешил, а только до поворота. На развилке их высадил. и что с ними произошло во время их следования от поворота до деревни — мне не известно.

Моя защита сработала, в течение еще двух месяцев я не только оставался на свободе, но даже не был отстранен от занимаемой должности.

Потеряв все копцы, следствие снова вернулось к версии о причастии к исчезновению кассира и бухгалтера именно меня — так как последними, кто видел их в тот день, были все-таки мы с братом. Брагу предъявили обвинение по какому-то случаю хулиганства годичной давности, арестовали, и, отделив, таким образом, от меня, попробовали разговорить тюрьмой.

Подобный вариант нами тоже был предусмотрен, браг был готов к этому, потому ни арест, ни камерные разработки ничего не дали.

Тогда следствием был применен другой прием. Мне разрешили передать брату кое-что из продуктов. Один из следователей встретил меня у ворог областного изолятора и проводил в кабинет для следственных действий. Заполняя заявление на передачу, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит, почему-то подумал, что это брат, обернулся и увидел, что дверь слегка приоткрыта. Я поднялся, выглянул в коридор, но там уже никого не было. Пробыв в изоляторе еще минут десять, я уехал.

Однако все это: разрешение передачи, неплотно закрытая дверь, взгляд, суетливость следователя — заставили меня насторожиться. Я решил провериться, заставить следствие заторопиться и

приоткрыться — в тот же день взял билет до Москвы. Этот ход давал мне понять, появились ли у следствия какие-либо доказательства. Если да — то они попытаются воспрепятствовать моему отъезду (из опасения, что скроюсь), если нет — то никаких препятствий чинить не станут.

Меня проводили, но не остановили. Это означало, что никакими новыми доказательствами о моей причастности к преступлению следствие на тот момент все еще не располагало. Однако когда спустя трое суток я вернулся, меня встретили прямо в аэропорту.

Все было просто. Сам брат рассказал потом: ему тогда объявили, что я, испугавшись, что брат все же заговорит и спутает мне все карты, написал явку с повинной, в которой утверждал, что преступление совершил я один, что брат ко всему этому отношения не имеет, сообщили, что я уже арестован и начал давать показания. Предъявили какой-то акт экспертизы, какой-то протокол с моим почерком (изъятый из одного из старых, расследованных мною когда-то дел об убийстве, где я своей рукой, от имени допрашиваемого мною убийцы, писал: «я убил»... и т. д.), а для убедительности подвели его к приоткрытой двери следственного кабинета и показали, как я «собственноручно записываю свои признательные показания... »

Я попался на своем профессионализме — на зауженности профессионального мышления. Я исходил из личного опыта расследования уголовных дел, из того, что подельники, как правило. выгораживают каждый себя и валят вину друг на друга. Я же знал: мой брат навредить мне умышленно, дать в отношении меня показания обвинительного характера, не может. О том, что он может навредить мне из соображений обратного характера, из желания спасти меня, я не подумал. Мне, в семье старшему, всегда обязанному за всех думать, всех защищать, всегда и за все отвечающему, просто не могло прийти в голову, что кто-то из моих младших осмелится присвоить себе МОИ полномочия — вздумает защищать меня. Я не учел того, что он может любить меня сильнее,

чем я его, что едва лишь услышав об угрозе моей жизни, он, ни на секунду не раздумывая, предложит взамен свою.

Вернувшись в камеру, после того как ему дали увидеть меня пишущим «признания», он в ту же ночь написал заявление, в котором требовал, чтобы мне не верили, утверждал, что все совершил только он один, а я просто оговариваю себя из желания выгородить его...

Своим заявлением он связал меня, сам того не подозревая, по рукам и ногам. И если до этого моей заботой было спасать только себя, то теперь мне нужно было спасать нас обоих.

В этом цейтноте я снова признался, что и на этом отрезке меня снова переиграли, что я снова допустил просчет, и в профессиональном отношении снова оказался слабее, чем привык о себе думать.

Уже много позже я спросил у Него: почему я не смог тогда предугадать подобного хода — что брат может броситься спасать меня? И открыв кого-то из последних оптинских старцев, я прочел: подобное — видится подобным. Видеть в людях светлое и доброе можно, только имея эти добро и свет в себе. Если видишь в окружающих только плохое и злое, то значит, и сам имеешь в себе только это. А потому видеть величину любви брата ко мне. будучи сам чернее черного, я был, конечно же, не способен. А значит, и предвидеть и предугадать возможность подобной развязки — не мог.

На сегодняшний день для меня совершенно бесспорно и то, что своими действиями брат не только не навредил мне, как это может показаться на первый взгляд, по сделал для меня доброго гораздо больше, чем способен был предположить — обеспечил мне возможность подлинного спасения.

Однако в те дни я расцепил поведение брата несколько иначе, как мальчишество, которое могло стоить уже не только мне жизни, но и ему. Хотя винил при этом я прежде всего самого себя — за то, что не просчитал, что он может повести себя еще и так.

Но даже и после этого я продолжал верить в себя, что я сумею завершить эту партию с минимальными для нас потерями. Я попробовал навязать следствию свой новый сценарий, с полупризнаниями, надуманными мотивами, передергиванием фактов, попробовал использовать знакомства и связи. И какое-то время казалось, что у меня снова все получилось. Мой сценарий был принят, нам было обещано 13 и 8 лет, но «нет худого дерева, приносящего плод добрый» — буквально за сутки до начала судебного разбирательства мне вдруг сообщили, что одна из моих потерпевших, является односельчанкой члена Политбюро ЦК КПСС Л. А., и что он против того, чтобы оставлять меня живым...

Это было моим третьим и последним поражением, окончательное оформление которого во мне тогда, спустя несколько недель после приговора, и завершилось осознанием абсолютной своей несостоятельности. Позже у отца Александра Меня я прочел, что преображение в человеке начинается с познания им собственной слабости и ничтожности. Исходя из этого, допускаю, что признание моего собственного профессионального бессилия и было моим первым шагом к тому, что называется обращением.

Это был какой-то конкретный день. Может быть тот, когда выпал снег. Он выпал ночью. Отопление еще не включили, и первое замечание я получил сразу по подъему. За то, что надымил. сжигая газету, чтобы растопить лед в крапе под раковиной. Умыться не получилось. Ботинки и телогрейка в комплект вещдовольствия смертника не входили — ноги в тапочках сразу же замёрзли. Я попытался вернуться под одеяло, и снова был остановлен: под одеялом, после команды «подъем» — не положено. Заправив постель, я сделал попытку согреться зарядкой и был одернул, в течение пяти минут, в третий раз. Что любое приседание в моем исполнении будет расцениваться как приготовление к нападению - мне действительно было объявлено иод роспись в первый же день моего поступления в изолятор...

Или еще, днем раньше, днем позже. Я ходил но камере. Память снова и снова пыталась увлечь в прошлое: глазами жены, голосами бегущих со всех ног навстречу детей — чтобы не подпускать их затвердил Высоцкого. «Среди нехоженых путей..» - три шага к двери - «один путь мой» — три обратно. От подъема до отбоя 70 км. Чтобы вымотать тело — почти бегом. Чтобы перекричать намять - вслух: «... и в мире пет таких вершин, что взять нельзя...» Произнес и споткнулся.

Тетрадный лист с. этой строчкой четыре года провисел у меня над кроватью в студенческом общежитии. Чем-то вроде жизненного девиза эта фраза оставалась у меня и во все последующие годы. И я действительно считал, что «непреодолимые вершины» — это отговорки ленивых. Что все, что человеку нужно для любого преодоления — это хотеть и стараться.

По инерции я продолжал повторять эту фразу и находясь уже в камере смертника. Чисто механически, особо не вслушиваясь в произносимое, а в тот момент в сознании словно блеснуло. Услышал собственный голос и вдруг удивился абсолютному несоответствию между тем, что утверждаю и тем, что есть на самом деле: отрицая недоступность — налетел на нее лбом. И это был уже не образ, не аллегория — эти «вершины, в виде абсолютно материальных степ и решеток, обступали меня со всех четырех сторон. И я, имея теперь и желание, и предельную готовность к приложению всех своих сил и способностей, ни преодолеть их, ни превозмочь — не мог.

Это можно было назвать почти физическим соприкосновением тепла и мякоти моих костей и мышц с несокрушимой мощью железа и бетона. Суетящийся прежде исключительно внутри периметра камеры, я словно бы расширился, вбирая в осознание самого себя и толщину стен. При этом кто-то как бы говорил: «Ну, давай, где твои свинги-еки? Подскочи-подпрыгни...» Посредством стен кто-то как будто демонстрировал мне самопридуманному, воспринимавшему себя как некую значимость, меня подлинного

— теперь уже мое физическое ничтожество.

Под этим «кто-то» в тот момент я, конечно же. подразумевал только одну силу — Государство. Переставший в то время воспринимать его как то, с чем нужно считаться, в тот момент я как будто снова ощутил на своем загривке тяжесть его руки...

Пролистываю сейчас оставшиеся от той поры записи... В те дни я разговаривал с секретарем суда. «У нас до сих пор удивляются, — сказала она, — как вы могли совершить такую глупость?..»

... В те же дни увели смертника из тридцатой, а содержащийся в тридцать первой повесился — число стоящих передо мной в очереди к могиле сократилось до цифры пять, холод разрытой земли стал еще ощутимее...

Была масса каких-то и других, видимо, не прошедших мимо внимания мелочей. Автоматически написанное в конце письма «до свидания»... Газетная публикация с упоминанием моего имени, на которую уже не имел возможность возразить... Записка уходящего на этан брага, такого же как и я материалиста и атеиста, вдруг написавшего: «... эго только первый раунд, будет еще один, он твой, тебя не расстреляют - мне было видение. но о нем при встрече... » Видимо, накапливаясь, дополняясь одно другим, эти мелочи в какой-то момент достигли такого количества, которое в конце концов уже не могло не привести к появлению во мне перемен и качественного характера.

И. наверное, первым признаком этих перемен было то, что я наконец-то начал задавать вопросы.

Так, получив замечание от контролера, я подумал: как же стало возможным, что мальчишка учит меня, годящегося ему по возрасту в отцы, уму-разуму?... Возвратившись со встречи с секретарем суда в камеру, я тоже спросил себя: действительно: если уж преступление, то почему не кража, не взятка?.. Ни что-либо иное, без крови и смерти — почему именно крайность глупости, убийство?.. И почему меня не остановили, не помогли мне ускользнуть от наказания ни знание юриспруденции, ни опыт,

ни знакомства? Где, когда и какую переходя речку, я перепутал хвост копя с хвостом собаки?..

Конкретные вопросы потребовали конкретных ответов. Однако первые мои попытки саморевизии были похожи на ловлю налима намыленными руками. Делая шаг вперед, то есть признавая свое полное поражение, я тут же делал тридцать три антраша назад и в сторону.

Во-первых, очень мешало самолюбие. Как только дело доходило до того, чтобы признать, что в таком-то месте, тогда-то я действительно недосмотрел, недодумал, смалодушничал, все живущие во мне животные начинали рвать меня с утроенной яростью и доказывать обратное.

Во-вторых, «чемоданное настроение». Заболел зуб. «Если не сегодня-завтра покойник — есть ли смысл лечить?» — стоматолог шутил, но в принципе я был согласен с ним. И беря потом в зубы зубную щетку, каждый раз ловил себя на мысли: а зачем?.. Зачем пришивать оторвавшуюся пуговицу? Уходить от окна из опасения простудиться?.. Производить в себе какие-то теоретические раскопки и до чего-то там доискиваться... Ну, и докопаюсь я до всех этих первопричин — что дальше? Какая мне разница, а тем более кому-то, будет мой труп завтра гнить с наличием в моей голове ответов на эти вопросы или без них? Бессмыслица...

Потому все мои первые оглядки какой-либо пристальностью, конечно же, не отличались. Действуя по принципу: первое, что нужно сделать собираясь приготовить жареного зайца из кошки — обрубить ей хвост, я, отвечая себе на основной вопрос: где и когда, с какого часа, с какой мысли, слова, поступка началось мое падение, сразу же сводил все к единственному дню. Тому, в котором было совершено убийство.

У меня получалось, что совершенное мною преступление не есть совершенно закономерный результат всей моей, абсолютно не в ту сторону прожитой, жизни, а всего лишь ошибка одного дня — «минутная слабость, стечение обстоятельств...» Не появись у меня

до 12 часов транспорт, не столкнись я с К. и П. на площади, не.., не.., не.., — то и никакого убийства я бы никогда в жизни не совершил.

Я по-прежнему держался позиции, что убийцей я стал буквально за несколько минут, по взмаху волшебной палочки, а не превращался в него в течение длительного периода, начиная с момента, когда впервые не усмотрел абсолютно никакой опасности в произнесении неточности. Допустил искажение истины совершенно непроизвольно: на вопрос отца: «Сколько на часах?» крикнул: «Три» — в то время как стрелки на часах показывали еще только без четырех минут. Когда впервые сказал неправду уже умышленно, позавидовал, позлорадствовал, присвоил чужое. А немного позже неверно истолковал брехтовское: «Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь...» Я продолжал уверять себя, что все свои тридцать лет жил совершенно правильно, был как все, и только в тот самый день, как-то не сориентировался, не собрался, в результате, совершенно нечаянно, оступился, сшиб с обрыва людей и полетел следом за ними сам. А потому и вины на мне — не больше, чем на добром и честном, но случайно уснувшем за рулем грузовика, водителе.

Одни неверный вывод не позволял мне вырваться из круга, вытекающей из этого вывода, лжи. Так, например, когда уязвленное мое самолюбие пыталось определить для себя конкретные имена людей, которые на этот раз «переиграли и победили меня», я тут же начинал убеждать себя, что это некое повторение случая, произошедшего со мною на отборочных на республику.... Гонг, шагнул, лопнула на трусах резинка, дернул руки вниз. Противник ударил, и я оказался на полу... Нынешнее поражение, успокаивал я себя, та же досадная нелепость: это не они победили, а это проиграл я — в силу глупейшего стечения обстоятельств раскрылся, и вся их заслуга лишь в том, что они не преминули этим воспользоваться...

Однако и позже, уже начиная осознавать, что дело вовсе не в «случайности», а действительно в моем следовании ложным ориентирам на протяжении всей моей жизни в целом — я все равно продолжал движение в направлении от истины. «От» потому, что продолжал искать победивших меня среди, может быть, не совсем тому учивших меня учителей, не того требовавших от меня наставников, тренеров, руководителей, не к тому призывавших меня героев, кумиров, лидеров, будучи совершенно не способным даже предположить, что ни теперь и ни раньше моими лжесвидетелями, противостоятелями и соперниками были вовсе не они, и даже вовсе не люди...

Вторым, условным, направлением моей реанимации была семья – жена и дети.

Камеру смертника иногда называют адом. Ад — это место полного отсутствия Бога. В камере же смертника Бога столько, сколько подчас не бывает в местах более презентабельных. Другая крайность — отождествлять камеру смертника с чистилищем, видеть в ней чуть ли не панацею спасения, место, стопроцентно гарантирующее всякому в ней оказавшемуся полное покаяние.

Для паршивой головы действительно нужен очень крепкий щелок. Но старец Феодосий (Кашин) как-то отметил, что колодец милости Божией действительно бездолен, но если придешь к нему с худым ведром — ничего не почерпнешь. Никакой закономерности между помещением преступника в камеру смертника и покаянием — не существует. Я знаю многих убивших, проведших в камере смертника и по три, и по четыре года, но готовых убивать и убивать и сегодня. И на мой взгляд, все зависит не от самой камеры, а все же от того, откуда ты в эту камеру пришел, и главное — с чем.

Первым чудом Иисуса Христа были Каны — сотворение недостающего на свадьбе вина. Но в Книге записано, что Господь не сотворил вино из ничего. Он поставил условие: сосуды прежде должны быть наполнены водой. (В этом, возможно, часть, ответа и

на вечный вопрос о страдании: почему одному оно посылается. а другого минует. Какой смысл посылать человеку страдание, если в нем уже нет того, чем страдают?)

И с убийцей: его покаяние возможно лишь при условии, что вводимый в камеру он тоже не должен быть абсолютно пустым. Какое-то содержание, пусть мутное и грязное, но какая-то «вода», в нем все же должна оставаться. Какой-то принцип» привычка, привязанность — что-то такое, от чего потом можно было бы оттолкнуться, что можно было бы потом попробовать преобразовать в «вино» — положить в основу покаяния.

Должен оговориться, что, безусловно, дверь покаяния для человека, кто бы он ни был, и где бы он ни был, остается открытой до последнего его вздоха, и все дело лишь в том, достанет ли у него сил, чтобы захотеть в нее войти.

Духовное опустошение — процесс не сиюминутный. Сначала теряется честность и верность. Потом — честь и совесть. Или в другой последовательности. От греха к греху. Что именно человек утрачивает в последнюю очередь — не знаю, но, наверное, это когда человек перестает слышать голос собственной крови — теряет родство, чувство своей сопричастности хотя бы еще к одному человеку кроме себя. Довести же собственный организм до полного обезвоживания (обезбоживания), несмотря на все мои старания, у меня, как осмелюсь предположить, все же не получилось. В каких-то щелях и трещинах что-то, видимо, как-то удержалось, какие-то осколки, и как предполагаю, этими осколками и была моя кровь — моя привязанность к жене и детям.

Не говорю «любовь», потому что назвать любовью тот суррогат чувств, которые во мне оставались по отношению к ним — нельзя. Потому что продолжая убеждать себя, что я по-прежнему люблю их, я в действительности уже любил вовсе не их. а лишь себя в них.

Однако когда я оказался за всеми гранями, Господь и этот эрзац моих чувств обратил в средство моего спасения.

Жена. Она ничего не знала до последней минуты. Была на

дежурстве в больнице. Спустилась сверху, как тогда, когда увидел, здесь же, впервые — вся в белом. Что это последние секунды расставания навсегда — я предполагал, она – нет. Что-то почувствовала — спросила: не сердце ли опять? Сказал, что все нормально, что нужно дня на три в Москву. Велела купить апельсинов, посмотреть что-нибудь на ноги дочке.

Из Москвы я не вернулся. Присутствие ее на суде посчитал невозможным. Встречу после приговора — тем более. От ее попыток проникнуть через мысли, спасался Высоцким первые 10 суток после ареста глушил себя им от просыпания до засыпания.

Однажды прорвалась. Приснился шум воды. Прислушался и понял, что это она — пришла с работы и включила душ. Подождал, Всё не шла. Всё шумела вода. Удивился, что слишком громко. И догадался: не закрыла в ванную дверь — нужно пойти и закрыть — стал подниматься, ударился обо что-то головой, открыл глаза и увидел стену камеры... Почему не лопнуло сердце — не знаю.

В раме не было стекол — просто шумел за окном ливень.

Последнее письмо для нес я передал через братьев. Потом отправил в суд заявление о расторжении брака: бывшей жене справку о приведении приговора в исполнение в отношении бывшего мужа не высылают — чтобы отделить живое от живого, а не от мертвого, чтоб лишний раз не заходилась.

Дети. Чем бы пи глушил себя, чувство страха за них все равно систематически пробивалось. II чем дальше, тем неистовее.

В тот день мне сообщили о краже. Жена с детьми жила уже в соседней области, у своих родителей. Кто-то сорвал замки с подвальных сараев. Унесли велосипеды и банки, но дело было не в величине материального ущерба, а в том, что я еще был жив. а их уже начинали обижать. Эта кража наглядно показывала. что производимое мною зло вовсе не бумеранг, как я привык думать. Принцип бумеранга меня как раз вполне устраивал. Сохранялась видимость справедливости: сам ударил — сам получил сдачи. Л потому вроде бы и никто никому ничего не должен.

Кража освободила меня от этого заблуждения. Она показала, что зло не бумеранг, что оно гораздо примитивнее — просто брошенный вверх камень. И если запретить мне испытывать крепость веревки собственной шеей никто не вправе, то бросая камень, я подвергаю опасности уже не себя. Потому что девять раз из десяти он падает не на меня, а на тех, кто рядом. А рядом — это родители, жена, дети.

Несправедливость моих действий по отношению к семье оказывалась гораздо значительнее, чем казалось мне до той кражи. И этот новый взгляд на механизм зла породил во мне какие-то первые признаки гой самой, подлинной Вины. Я вдруг представил, как бросаю камень в какого-то человека — врага, противника. Как он летит. Как, поразив того, вверху, в кого был брошен, возвращается и проламывает голову, брошенный собственной моей рукой, моему же трехлетнему ребенку... Мне сделалось не но себе. Всю жизнь вприпрыжку проповедовавший булгаковское: «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит», – я начал судорожно протестовать против этого принципа, Я не хотел, чтобы за мои ошибки расплачивался кто-то еще, кроме меня, тем более самые любящие. С катастрофическим опозданием я стал усиленно придумывать, чем и как я могу защитить их от окружающих их опасностей. Что-то, написав письма своим братьям-сестрам, я перепоручил им. О чем-то попросил оставшихся друзей. Но всего этого было недостаточно. Я решил предупредить обо всем, что смогу и успею, самих детей.

Говорил на вырост — не к трех-пятилетним, а ко взрослым. Говорил и прекрасно понимал, что все это только слова, воспринимаемые лишь тогда, когда за ними следуют подтверждающие их поступки, совершение которых для меня было уже невозможным.

Тогда я вцепился в одно обстоятельство. С позиции дня сегодняшнего те свои действия иначе как конвульсиями не называю, но в то время они казались мне чем-то уместным,

единственным, что я хоть как-то мог бы причислить к категории тех самых, так недостающих мне тогда, поступков.

Это было каратэ. В конце 80-х оно все еще оставалось под негласным запретом, учебные пособия в Союз ввозились контрабандно и их было не достать. Я решит написать для своих детей собственное пособие. Тем самым я уже как будто не только говорил, но и как будто что-то делал. Это создавало и какую-то иллюзию ничтожного воплощения того, что не успел вообще. Работая на общественных началах тренером, обучая чужих детей, я, как и всякий отец, ждал, когда, наконец, подрастут собственные — передать что скопил. Цинизма во всем этом я не замечал. Я ублажал себя: «Я не могу больше ловить для них рыбу, но я научу их особым приемам нападения и защиты...»

Вера — это «уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1) - третьим направлением процедуры моей реанимации были мои первые, осознаваемые рассудком, соприкосновения с миром невидимым.

Пришел корреспондент газеты «После приговора». Уходя, обронил: «Если Бог все же существует - тебя не расстреляют». Просто нежелающий не сомневаться человек. Я это понял и никакого значения его словам не придал - дежурная фраза...

Прошло несколько дней. Я сидел, расписывал очередную связку ударов-блоков. Выполнял в рисунках, несколько у влекся и в одном из ракурсов изображаемого лица увидел черты сына – его выражение глаз в момент, когда уходил от нею навсегда. Меня захлестнуло.

... С детьми я простился, когда отвез их к теще. Очень торопился – привез и тут же засобирался обратно. Сын сидел в машине, оторвать его от руля без слез удавалось редко. Тесть приготовился соблазнить походом в «Детский мир», теща побежала в соседний двор за «щепочками», однако на этот раз ничего этого не потребовалось. Я открыл дверцу и сказал, что мне пора. К всеобщему удивлению, сын на этот раз не закапризничал, а с какой-то совершенно недетской озабоченностью в лице, глядя

куда-то глубоко в себя, как-то весь внешне засуетился н вылез. Возможно. уловил что-то в моем голосе.

Дочь помахала рукой, и тесть повел их к подъезду. Сделав несколько шагов, сын остановился и обернулся. Я боялся, что он заплачет. Я повторил: «Мне надо». В нем почувствовалась какая-то борьба, несколько секунд он отсутствовал — отключился – замер, и только потом, как будто с огромным трудом пересиливая себя, с чем-то там согласился и необычно внятно разрешил, как приказал: «Едь». И жутко посмотрел.

Наткнувшись теперь именно на этот его взгляд и не успев запахнуться, я заметался. Когда, наконец, стало отпускаться понял. что говорю вслух и в рифму. Однако мне все еще было не по себе, я снова забегал, но через какое-то время опять поймал себя на том же. И так как рифма не прекращалась, я, не переставая сновать по камере, стал походя записывать то, что вырывалось, на какие-то газетные клочки. Вымотавшись, уснул.

Клочки попались мне на глаза на следующий день. Строчки были разбросаны, по когда я расставил их по смыслу, получилось что-то в виде стихотворения, которого я никогда прежде НЕ слышал. Впоследствии я заменил в нем лишь отдельные слова, но, в основном, оставил, как есть. К творчеству, к поэзии, это, конечно же. никакого отношения не имеет. Это вопли и слюни, но как документальное доказательство определенную ценность, наверное, имеет.

О, если б я вернуться смог!
О, если б все назад, сынок!
О, если б вновь свести мосты
Меж «до» и «после», «я» и «ты»
и впредь – зашелестись песок:
стопа в стопу, висок в висок –
о, если б я вернуться смог!
Я б разбудил тебя, сынок,

Чуть свет — чуть синь, перины — в ком!
Я б сладил с лямкой и шнурком,
И в стынь!
По первому снежку!
Пылай!
Гори! — твоим шажком!
Твоим!
Взахлеб! А вечерком
На кухне — штрих по косяку!
О, если б я вернуться смог...
По лужам? — Можно!
Пусть «промок»!
Пусть «натощак»!
Пусть «на ходу»!
Жар-птицу?
Бабочку?
Звезду?
Траву разрыв и одолень?
Погасший луч, вчерашний день,
коня, узду, ларец, цветок —
проси!
Живой воды глоток?
Из-под земли!
Из тьмы геенн!
Тащась на язвищах колен —
я б все принес тебе, сынок! ...
О, если б я вернуться смог!
Я б научил тебя, сынок
увидеть звук,
услышать цвет,
взойти в печаль осенних стай,
за бруствер взмыть во весь хребет!
Где можно — «быть».

Где нужно — «стать»,
Где «да» сказать,
Где крикнуть — «нет»!
Как закрепить струну в колок,
к чему тут Бах,
о чем тут Блок,
как взять «захват»,
где — назубок!
Где — с ног!
Где не давать, чтоб с ног!
Кому поверить,
С кем делить краюху,
небо, ковыли —
Я б рассказал!
Я бы предрёк!
Я б остерег тебя, сынок,
Чтоб не лизал ты с бритвы мед!
Чтоб не ступал, где тонкий лед!
Где только вход!
Где ни лица!
Ни поставца!
Ни каганца!
Не «вопреки»!
Не поперек! А соскорбя!
Собьясь!
Сорвясь!
Я бы пошел с тобой, сынок,
в грозу и в ночь!
на «вест» и «ост»!
В разведку, к звездам,
для тебя, где край, где грань,
где стынет мозг!
Где шквалом сброшен в бездну мост —

я б распластал мостом себя!
... О. если б я вернуться смог!
Я бы согрел тебя, сынок,
в промозглой стыни,
в дури вьюг,
Костер развел бы, побросав в него
и знамя и хоругвь!
Когда б дотлел и струг,
и сук, сынок, –
я лег бы в угли сам! ...
О, если б я вернуться смог...
Я б защитил тебя, сынок,
в тот миг,
когда бельмом шурша,
в тебя нацелят острия —
мне б вену вскрыл клыком чужак!
Мой дых нашел бы шелк ножа!
И я дымил бы глоткой!
Я!...
... Эоны тьмы,
пласты пространств,
непостоянства постоянств —
я б все вспорол!
Прошиб!
Просек!
Чтоб разделить с тобой, сынок,
твои заботы, траты, скорбь,
я б всех твоих волокон голь
своею кожей обернул!
Я б вызнал!
Вырвал!
Выгрыз боль из дум твоих!
Из ран твоих!

Под шепот ливня,
ветра всхлип, зажег свечу,
прижал струну...
И как в тот вечер,
В ту весну.
Ты бы растер по скулам соль
и на руке моей уснул;
Ты б видел сны, а я, сынок,
недремным псом твой сон стерег!
О, если б я вернуться смог!
Я б все отдал тебе, сынок!
Я б все к йогам твоим сложил —
зрачка живучесть,
пор чутье,
спины негибкость,
прочность жил
и однолюбие души!
И сердце глупое мое!
О, если б знал я!
Если б мог!
Прости, прости меня, сынок!
Что я ушел, а ты — один...
Прости меня
Прости... Мой сын...

Однажды, еще в школе, мне поручили составить четверостишие в стенгазету. Я не смог. И с тех пор, будучи абсолютно убежденным в своей полнейшей непригодности к стихосложению, никогда больше к этому занятию не возвращался.

В стрессовых ситуациях проявление в человеке каких-то скрытых способностей - явление обычное. Я решил, что способности к рифмованию во мне, видимо, все-таки были. Но просто, не будучи востребованными, не проявляли себя, а теперь

обнаружились.

Чтобы убедиться в этом, я тут же попробовал сочинить что-нибудь еще. Не получилось. Я придумал объяснение и этому. «Чтобы рифмовать, необходимо эмоциональное возбуждение, чего я в положении, когда, напротив, все свои эмоции нужно держать на привязи, позволить себе сознательно не могу. Потому и не подущается».

Я вернулся к работе над пособием, но не успел сделать и двух рисунков, как снова услышал зазвучавшие, совершенно независимо от моего хотения, рифмы. Я взялся записать их — звучание прекратилось. Пытаясь завершить строфу снова самостоятельно. я пробился с ней до головной ломоты, бросил, снова занялся рисунком — снова вернулась рифма.

И тогда, опасаясь, что звучание опять прервется, я замер и стал просто вслушиваться.

Я сразу же обнаружил, что рифмы возникают вовсе не в моей голове, а поступают извне. Звук шел сверху, и его источник находился от меня в самой непосредственной близости. Прощупывая пространство камеры, я вдруг отчетливо уловил какое-то постороннее присутствие и тут же поймал себя на том, что замечал его наличие и до этого. Ощущал, что энергетическое поле камеры не везде одинаково. Внизу оно было «пожиже», вверху - «погуще», а самый центр его плотности находится под самым потолком — в переднем правом углу.

С учетом того, что и в последующие дни непроизвольное возникновение рифм продолжалось, я предположил, что, видимо, до меня в этой камере содержался человек, занимавшийся стихотворчеством. Человек же, как материальная субстанция, не только набор химикалий, но еще и сгусток электричества. И я допустил: рифмователя расстреляли, но какие-то его прижизненные эманации, продукты жизнедеятельности его организма, и, вероятнее всего, именно энергетические выбросы его мозгового вещества, то есть мысли, по-прежнему остаются здесь,

в камере, и продолжают звучать. А то, что я начат их слышать — это снова проявление патологии моего организма — заползание на чужую территорию, либо, напротив, — неспособность защищаться от проникновения в меня чужого.

Первую поправку в это предположение я внес уже спустя три-четыре дня. Записав раз и другой то, что начинало диктоваться само, я как-то подумал, что хорошо бы услышать что-нибудь, например, про цветы, листы, кусты. И мысли отозвались. Они продиктовали мне не свое, а именно то, что «заказал» я. Я повторил эксперимент несколько раз — мысли слышали и откликались. Это был диалог, возможный лишь там, где есть двое.

Из этого следовало, что рядом со мной находится вовсе не производное организма, а сам Организм, Существо бестелесное, но обладающее, так же, как и я, определенными качествами личности: волей, рассудком и т. д.

Характерным было то, что во время всех этих моих прислушиваний и рассуждений, где-то на задах сознания всё время проблескивалась фраза корреспондента: «Если Бог существует» ..., но я был сосредоточен совсем на другом, и никакой связи между звучанием рифм н этим рефреном не усматривал.

Я назвал его Сокамерником, а вскоре освоил общие правила общения с ним.

Это было похоже на детскую игру. Причем мне всегда казалось, что Сокамерник то и дело подыгрывает мне, поддается. Что в наличии меж нами этой игры, он заинтересован едва ли не больше, чем я — хотя он почему-то старается скрывать это. но делает все, чтобы я не утратил к ней интереса.

В примитиве происходившее можно было изобразить в виде большой поляны. На пей ворох слов. Я должен был уйти из центра к периферии, там затаиться и ждать. После этого выходил бесшумный, невидимый, невероятно пугливый — готовый при малейшем моем шевелении мелькнуть и раствориться, он. Он подходил к пороху, выбирал нужное и выкладывал из него

строчки.

Всё, что требовалось от меня — не высовываться. Не пытаться приблизиться к нему и как-то ущупать. Не вмешиваться ни во что своим мастодонтством, а лишь обеспечивать «неподвижность ума» и тишину.

И я стал пробовать затихать. Позже я встретил у отца Александра Меня, что «молчание и есть место присутствия Творца»

— Его близость мы ощущаем, лишь достигнув неподвижности собственного «я Именно в нем, в безмолвии, в неподвижности, которые, конечно же, не имеют ничего общего с пустотой, мы освобождаемся от доминирования в нас плотского, и становимся способными к восприятию того, что находится за пределами нашего «я».

Спустя еще две-три недели я освоил механизм выхода моего Сокамерника во всех тонкостях. Нужно было лечь на спину и обеспечить отсутствие движения — и мышц, и эмоций, и мыслей, но при этом оставаться предельно внимательным и собранным. После этого нужно было подняться сознанием, как бы всплыть сквозь толщу воды, вверх. На поверхности зафиксироваться, сосредоточиться, а затем снова начать медленное погружение вниз, сквозь слои, отличающиеся друг от друга и по толщине, и по плотности, и по освещенности. И если не зашумишь, то в какой-то момент достигнешь какой-то топкой прослойки, очень светлой, в которой сразу же ощущаешь некоторую одноприродность с собой, в которой и звучит голос Сокамерника.

Никакого отношения к медитации, аутотренингу и т. п. это не имеет, хотя бы потому, что все эти системы требуют как раз обратного. Либо культивации самости, когда в центре конструкции ставится собственное «я», либо деперсонификации — отказа от себя, как от микросоциума, исключительности, передачи прав на себя неизвестно кому и чему. В моем же случае: вот — он, вот — я. Он вышел, соорудил, ушел. Я подошел, забрал, отошел. И снова

он, и снова я. Никакого непосредственного контакта, взаимопересечения, взаимопроникновения. Утверждать, что это был уже Бог, было бы опрометчивостью и преувеличением. Это был не Он, но. как мне кажется - уже что-то приоткрываемое Им из до времени сокрытого.

Ожидающему расстрела очень важно иметь четкий распорядок дня — график занятий, расписанный до минуты, на все 24 часа. Пока есть незавершенное дело, недовыполненный пункт - смерть не наступит. Не наступит потому, что у меня перед глазами лежит расписание моей жизни, согласно которому с 9 до 11 я буду читать, с 11 до 12 рисовать и т. д. Я знаю, что буду делать и через час, и через три - пункта «выходить на расстрел» в моем расписании нет - смерть где-то очень близко, но никак не сегодня. Иллюзия, но напряжение снимает.

Лично мое расписание состояло из десятидневок. Знакомый корпусной сразу сообщил мне, что отправка смертников к исполнению производится по числам с тройкой — 3, 13. 23. И в дальнейшем я так и ориентировался. В день с тройкой, с угра делал в камере уборку, чистил зубы, одевал чистое и ждал (все 37 месяцев). Если до двух конвой не появлялся, я знал, что расстрел откладывается, что 10 дней можно не прислушиваться к шагам в коридоре — за тобой или пока еще за твоим соседом. Мне кажется, я научился тогда очень важному - жить короткими промежутками, перебежками: добежать до угла, что дальше — буду думать, когда добегу. Жизнь в миниатюре: успеть снова родиться, составить план, реализовать его, лечь, сложить руки — и на всё про все 10 дней. Не до глупостей.

Нарушало распорядок, в основном, только одно обстоятельство. Когда очередного смертника увозили, его место вскоре занимал другой — только что приговоренный. То, что творилось в нем в первые часы и дни, я чувствовал через все стены. Меня тащило туда, буквально втягиваю и всасывало, словно в какую-то черную дыру, воронку, водоворот. Мне становилось так же тошно, как и

ему, ломало и корежило — ни читать, ни писать, ни даже просто сидеть на месте. Но проходили сутки — двое, и та магнитная воронка как будто заполнялась, все выравнивалось и отпускалось, и я снова возвращался к своему прежнему распорядку.

Встрече с Сокамерником в моем расписании отводилось время с 8 до 12 часов. Норма выработки — 40 строк в день, 1200 в месяц. Тематика — разговор с детьми. Иногда я забывался и по своей прокурорской привычке, вместо того чтобы ждать, начинал требовать. Тогда он затаивался, но никогда не наказывал. Бывали дни, когда я вылеживал и час и три, а лист оставался чистым. Я уже решал, что все, сегодня я был слишком шумным и, когда уже готов был подняться, он всякий раз проявлял снисхождение и за какие-нибудь 15-20 минут выдавал мне все 40. оговоренных нами, в непроизнесенном соглашении, строк.

Однако же все мои попытки нарушить установленную им между нами дистанцию: выяснять, что он такое, заговорить с ним о чем-то не относящемся к рифмованию, заканчивались тем, что он мгновенно умолкал и исчезал. Я прекрасно чувствовал, что он многократно совершеннее меня во всем, и, тем не менее, мне все время давалось знать, что вся эта игра происходил не ради него, а ради меня. Что не за ним, а за мной закреплено право решать, быть этой игре или не быть. Что, хотя и я никакими властными полномочиями по отношению к нему не наделен, но и у него права требовать от меня какого-либо подчинения тоже не имеется.

В возможность покаяния убийцы — кто-то верит, кто-то нет. И, безусловно, те. кто не верит, правы, когда говорят, что, сколько ни окунай черную курицу в молоко, она все равно не станет от этого белой; не может человек лечь спать убийцей, а проснуться нормальным человеком. Всякому преображению непременно должен предшествовать какой-то период инкубации, процесс подготовки сознания. Только этим оправдываю то, что уделил столько места рифмозаписыванию. Так как предполагаю, что именно эти обстоятельства — обнаружение мною Сокамерника.

подслушивание и записывание слов столбиком, как раз и были некой увертюрой, вступительной частью того самого, предшествовавшего и лично моему покаянию, процесса.

Таким образом, это был мой первый опыт осознанного соприкосновения с трансцендентностью, но я еще долго уподоблялся тому самому бегемоту, которому однажды расширили клетку, а он после того еще месяц ходил по периметру старой.

При отсутствии возможности уничтожить правду, уничтожают ее носителя. Я попробовал втиснуть Сокамерника в мой материализм — новое вино в старые мехи. Я согласился перевести все это в плоскость психиатрии. Азы о слуховых и тактильных галлюцинациях нам в институте тоже давали. И я заключил, что это просто нарушение восприятия действительности, начальная стадия паранойи - результат пережитого. Попытка больного сознания, напичканного мусором мифологем, «изначально настроенного на поиск некоего кукловода», сотворить фантом. Это было гораздо удобнее, нежели подвергать сомнению и переосмысливанию всю систему прежнего своего мировосприятия.

И, конечно же, основным аргументом против признания реальности Сокамерника у меня были сто невидимость и неосязаемость, фомизм: не потрогаю, не поверю (Иоанн 20: 25). Однако Евангелия к тому моменту я еще не видел, хотя замечание печального Лиса помнил, но заглянуть под строку как-то никогда не удосуживался.

«Как люди ни хитри, пора приходит, и все на воду свежую выходит» мой эклектизм прогрызли мыши. Почти в буквальном смысле.

Уже много месяцев спустя, прочтя «Исход», я обратил внимание на то, что в качестве средства вразумления фараона Бог избрал не что-то космически-циклоническое. Не опрокинул горы, не обрушил небо, а применил самое что ни на есть ничтожное — каких-то песьих мух, саранчу, жаб. И когда мы считаем, что Его

посещения нас должны непременно сопровождаться некими вселенскими катаклизмами, возмущением стихий — скорее всего мы не совсем правы. Чаще Он все-таки в «веянии тихого ветра» (3Цар. 19: 12).

Из моего окна, наглухо забранного железом, можно было видеть только небо. Полоску. Сантиметров 7 в длину и 2 в ширину. Для этого нужно было взобраться на ящик и вжаться лицом в решетку.

Я стоял и смотрел. Тучи были обложные, полоска все время оставалась беспросветно серой, но все равно это был осколок того, что еще недавно было н моей жизнью. По отливу подоконника прошмыгнул мышонок. Что он мог подняться до моего окна с земли, было сомнительным — камера находилась на третьем этаже, и я слегка удивился. Бросив меж рам корку хлеба, я вернулся к работе над пособием.

Утром корки на месте не оказалось. Заглянув на подоконник с пола, я увидел что-то блеснувшее. Я залез на тумбу. Это был обломок от зубной щетки. Прозрачно-голубой. Вбирая в себя свет утреннего, проникшего за щит сбоку, луча, он светился таинственно-нежным, каким-то небесно-тихим светом, и был похож на большую каплю живой росы, на настоящий алмаз голубого нацвета.

Убрав его, я снова положил туда корку, а утром обнаружил на ее месте гвоздь. Ржавый, маленький, какими прибивают штапики.

Обыски в камере производились ежедневно и с предельной тщательностью. Даже просто нитка, если ее длина превышала 8 сантиметров — изымалась. Обнаружение же, даже сантиметрового гвоздя, фиксировалось уже письменным рапортом - как обнаружение колюще-режущего предмета.

Из этого следует, что появиться на окне этому гвоздю было совершенно неоткуда. Обследовав все окно в сотый раз, я решил, что, видимо, и я, и инспектора все же где-то недосмотрели. Что, возможно, гвоздь выпал из какой-то трещины в кладке.

Выметя меж рам все до пылинки, я положил гуда клочок газеты

и на него щепоть перловки.

К утру перловка исчезла. на газете снова лежал гвоздь. Такой же, как и первый. Маленький. Согнутый пополам. Я снова положил на газету каши, а угром снова нашел на ней гвоздь. Третий.

Всего гвоздей было пять. Потом щепка. Потом кусок фольги, воробьиное перо, гладкий камешек.

Я пробовал караулить, простаивал у окна часами.

Мышей было пять. Две большие и три мышонка. Они тоже видели меня, но быстро привыкли к моему дежурству у решетки — резвились, не обращая на меня внимания. Однако увидеть главного, момент, когда они приносили мне «расчет», мне ни разу не удалось.

Последним предметом «бартера» была алюминиевая ложка с отломанной ручкой. Каким образом они втащили ее по гладкому, жестяному и, главное, наклонному, не менее 45°, отливу подоконника, было совершенно необъяснимо.

Животные, как учили, не творят, а лишь производят. Мои же мыши каждый раз оставляли предмет не просто меж рам, на цементе, а непременно клали его на клочок бумаги, на котором я оставлял им еду, в чем явно прослеживались и осознанность действий и элемент творчества. Я смотрел на возившихся на окне мышей и прекрасно видел: они были лишь средством исполнения воли невидимого, присутствующего где-то совсем рядом Разума.
— Это ты — сказал я Сокамернику.

Ничего нового в этой истории с мышами, конечно, не было. Я совершенно уверен, что все эти мыши, гвоздики и перышки попадались мне и до того, как я оказался в камере — тысячу раз. Просто в свободной жизни меня окружало слишком большое количество более громоздких вещей и предметов, большое количество движений и звуков, поглощавших и отвлекавших — не позволявших замечать все эти «мелочи». Как возможно и многих.

После принесения ложки визиты мышей прекратились. И на

протяжении последующих, проведенных мною в этой камере, трех лет, их больше не было. В них просто не было больше нужды — мой фомизм был поколеблен. Во-первых, материальность мышей и приносимых ими предметов напрочь лишала меня возможности продолжать отрицать реальность существования невидимого, как того, что невозможно потрогать руками —- в отличие от Сокамерника, мыши были видимы и осязаемы. Во-вторых, мышей уже никак нельзя было списать на шизофрению: к их наличию и их визитам лично мое сознание, больное ли, здоровое ли, — никакого отношения иметь не могло. Оснований списывать наличие Сокамерника на болезнь, на расстройство рассудка, у меня тоже больше не было.

Вопросов же становилось еще больше. «... Он слышит мои мысли, — рассуждал я, — и если я отталкиваюсь от неверного посыла, совершает действия, возвращающие меня в нужное русло? Что в конце русла? Зачем он ведет меня туда?

А еще было три сна.

Вообще сны снились мне лет до семи, потом прекратились и возобновились годам к тридцати, после рождения дочери. Эти же три были не совсем обычными. Были не просто «отражением событий дня минувшего», а помимо особой контрастности и яркости имели в себе конкретное знаково-смысловое содержание.

Первый был короткий. Приснился Л. С. Непродолжительное время я работал с ним в одной следственной бригаде, никогда после о нем не вспоминал и вот теперь вдруг увидел его во сне. Он держал в руках какой-то документ со списком фамилий, документ очень важный для меня. Я попытался заглянуть в него и проснулся.

Просматривая выданную мне в обед газету, я сразу же наткнулся на статью «Дикарь над колыбелью», подписанную и. о. начальника следуправления Хабаровской краевой прокуратуры Л. С., ни с того, ни с сего приснившимся мне накануне.

Второй сон был через два дня после первого.

Я бежал по бесконечному коридору. От кого-то убегал. В голове

билось: «... сорок метров... сорок метров...», что означало, что коридор этот находится на глубине 40 метров под землей. Проскочив в очередную дверь, я понял, что дальше тупик, оглянулся, увидел двух чудовищ, заметался, но в ту же секунду заметил распахнувшийся в потолке люк, увидел ярко-синее небо, выскочил, н люк с треском захлопнулся.

Оглядевшись, я обнаружил, что стою среди куч шлака перед задней стеной нашей старой кузницы в селе, где прошло мое детство, а на ней написано «элеисон». Я попытался вспомнить, где и когда я мог слышать это слово, и проснулся.

Газету я ждал уже с нетерпением, загадал, если будет цифра 40 — значит не случайность. Выдали «Комсомольскую правду». Во всю ширину задней страницы шел заголовок: «И лился дождь 40 дней и ночей».

Что слово «элеисон» греческое и переводится как «помилуй» (помилование), я узнал более года спустя. В цифре же 40. никогда не придававший значения каббалистической фантасмагории, я в тот момент вдруг усмотрел знак, имеющий какое-то отношение ко дню моей смерти - отсчитал 10 дней и сделал на календаре пометку. Через 40 дней меня, конечно же, не расстреляли. Просто хлынула горлом кровь. Обследование показало, что я совершенно здоров.

Но до того был еще третий сон. Мне показалось, что перед этим меня разбудили, и только затем возникла картина.

Приснилась мать. Она умерла, когда мне было пять лет. Ее лицо я помнил по фотографии. Приснилась впервые в жизни. Сначала возникла висящая высоко, в каком-то огромном зале, хрустальная. в тысячу свеч, люстра. Разглядывая ее, я увидел возникшее слева, прямо из воздуха, лицо женщины. Ее волосы были собраны как-то необычно, все вверх, высоким конусом, вокруг которого вилась спираль колючей проволоки. Я удивился. а проволока вдруг превратилась в ожерелье, в нить черного жемчуга. Ее шипы превратились в драгоценные камни, выполненные в виде

пшеничных зерен. Я перевел взгляд на лицо женщины и только тогда лишь понял, что это мать. Понял, что ей уже все известно и про убийство, и про приговор. Мне стало стыдно, в голове мелькнуло: «убежать!», но мать вдруг улыбнулась. подняла правую руку и показала глазами на свое запястье. Там висела нитка крупных красных бус (сейчас допускаю, что это были просто четки), а в их схождении я увидел большой, сверкающий гранями рубиновый крест. Не обычный, а наподобие мальтийского, с расширяющимися копцами. Мать дважды коснулась креста пальцем, и я понял, что она говорит: «Не забудь про это...»

До обеда я отвлекся, это было число с тройкой — вывели и увезли смертника из 35, слегка подобрался, но когда принесли газету, снова вернулся к своему сну. На развороте «Комсомолки». на третьей странице, было помещено фото какой-то латиноамериканской не то певицы, не то актрисы (если не изменяет память, по имени Люсия Мендес), левый полупрофиль. Серьга в ее ухе была выполнена в виде того самого «мальтийского», показанного мне матерью, креста.

Манипулировать мышами, слышать мои мысли, и даже проникать в мои сны и компилировать из хранящегося в моей памяти какие-то коллажи и сцепки, по всем моим ощущениям. Сокамернику было вполне доступно. По мне всегда казалось, что по какой-то причине он, так же как и я, не имеет возможности покинуть пределы камеры - приговорен, приписан, прикован к ней цепью, и параметры действия его феномена никак не распространяются за периметр нашею с ним обиталища. Сны свидетельствовали о другом. Знать о содержании публикаций завтрашних газет, не заглянув в верстку — он не мог. Потому он либо покидал камеру, а значит обладает возможностями и способностями более масштабными, нежели представлялось мне. либо обладал даром предвидения предстоящих событий, либо же сам определял, устанавливал, творил их очередность и последовательность. Обладал степенью свободы и полномочий

того, кто уже мог связать узел Хима и разрешить узы Кессиль (Иов 38: 31).

На глаза попалась фраза: «не верьте сказкам — все это было на самом деле». Я уже почти не рассуждал, вообще старался уже настроить себя исключительно на прием — как бы и где бы чего не проморгать: «Если есть Бог...» все настойчивее высвечивала где-то на заднем плане обмолвка корреспондента, но я по-прежнему не обращал на нее внимания, хотя уже и звучать ей не запрещал.

Это были уже первые числа декабря, пошел четвертый месяц моего пребывания в одиночке, и в эти дни вдруг снова мелькнула надежда избежать расстрела.

Ко мне снова зачастили следователи. Другие. Я должен был подписать протоколы с показаниями против Т. Г, руководителя следственной бригады, с которым работал в одной из республик, и который теперь был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Мне даже показалось, что это снова начал проявлять себя закон моей всегдашней везучести — бросила, постращала, и вот снова вернулась, чтобы отбить и спасти.

Это был мираж. Я спросил о гарантиях, начались торги, мне пообещали «кое-что кое с кем согласовать», долго не появлялись, а потом мне передали, что там решили обойтись без меня. Последняя иллюзия избежать расстрела растворилась.

Что шанс исчез, мне сообщили утром. Душевное равновесие было поколеблено, по я решил не ломать распорядок дня, лег, и чтобы закончить начатую накануне рифмовку, попробовал. как обычно, выйти к месту встречи с Сокамерником. Пролежал с полчаса, по осалить мельтешение мыслей никак не получалось. Лежал на синие, руки с листком бумаги и карандашом на груди. Смотрел на зарешеченную в нише над дверью лампочку. В коридоре залаяла собака — следственных стали выводить на прогулку: там запокрикивали, затопали. Прошло еще минуты две-три. и я увидел, как от лампочки тихо отделился пучок света в виде крохотного кусочка прозрачной льдинки, проследовал через всю

камеру и. достигнув меня, исчез в области моего подбородка. В следующее мгновение я почувствовал, что поднимаюсь в воздух. Из одного я превратился в двух. Один «я», продолжая оставаться в том же горизонтальном положении, медленно поднялся в воздух и повис над проходом. Второй же «я» продолжал лежать на постели и смотрел на первое свое тело снизу. Верхний повернул голову вправо и посмотрел на нижнего «я» сверху, затем перевел взгляд на потолок, который оказался совсем близко, на расстоянии руки, увидел трещины, отслаивающиеся куски побелки. присохшего комара; услышал, как хлопнула дверь камеры наверху, и по лестнице загремели каблуки. Я, висящий, попробовал ощутить свое тело, ощупать спиной какую-то под собой опору. Подо мной было пусто. В этот момент словно потянуло сквозняком и меня слегка сместило к окну. Я подумал: «Если упаду, ударюсь затылком об угол тумбы». Я попробовал повернуться набок — успеть подставить, если начну падать, руки. При этом я переложил карандаш в левую руку, а правую стал выпрямлять вдоль тела — произвел какое-то мышечное усилие и в ту же секунду почувствовал, что заскользил вправо и вниз, и через мгновение уже снова был только в единственном числе, лежащим на топчане.

Каждое свое движение я сознавал н контролировал, критического восприятия действительности ни на секунду не утрачивал. Что я попробую списать этот факт на сон или на мимолетный перекос сознания, Господь предусмотрел. Когда, поднявшись с постели, я попробовал сообразить, что же это со мной было, я сразу же вспомнил про близкий потолок — взобрался на раковину и исследовал место свода, которое разглядывал во время раз-двоения, сразу же обнаружил н ту самую сетку трещин, и отслоение в двух местах побелки, и раздавленного комара — чего при том ничтожном освещении шестидесятивольтовой, запрятанной в нишу за решетку лампочки, видеть с пола никак не мог...

Что понимаю под словом «покаяние. Если схематично, то

примерно следующее.

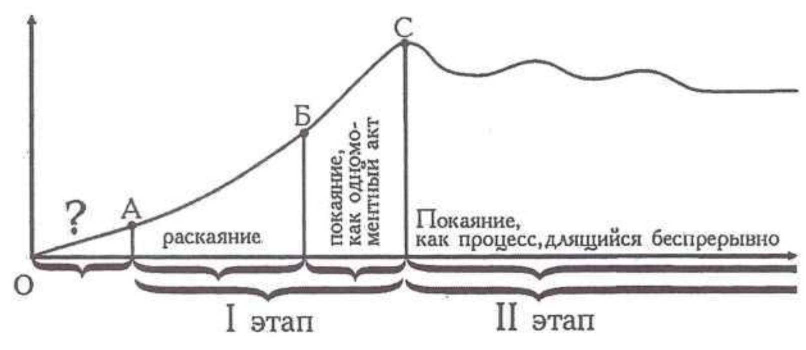


График покаяния

1) (АС) это первый этап покаяния. Он состоит из двух временных отрезков.

а) (Отрезок (А-Б) — это период раскаяния. Это время, когда человек, в жизни которого произошел какой-то сбой жизненного ритма: несчастный случай, болезнь, крушение, оказавшись на обочине и придя в себя, признает, что жил неправильно. Начинает сожалеть о случившемся, он даже испытывает какие-то угрызения совести. Он соглашается, что действительно болен и нуждается в лечении.

Однако одного лишь раскаяния для исцеления совершенно недостаточно. Во-первых, потому, что предметом рассмотрения при раскаянии избирается исключительно лишь то, что уже произошло. И в большинстве случаев, раскаиваясь, раскаивающийся совершенно не принимает во внимание свое будущее. А если и берет на себя какие-то обязательства перед своим завтра, то чаще всего по формуле: «... ударил человека... в глаз... зрения лишил... зачем?., глупость сотворил... безусловно... в следующий раз нужно не в глаз, а в пос...» Потому митрополит Антоний Сурожский говорит: «раскаяние и покаяние — это больше задание на будущее, нежели озирание назад».

Во-вторых, при раскаянии человек чаще всего винится лишь

перед самим собой за зло. причиненное исключительно лишь самому себе. Места другим пострадавшим от совершенного им зла, в его саможалении и оплакивании себя — нет.

В-третьих, раскаяние содержит в себе признаки ложной самодостаточности. «Я же раскаиваюсь, я же признаю, что. разбив вам окно, поступил плохо — чего вы еще от меня хотите?! Раскаяние лишь слова, за которыми непременно должно последовать действие — вставание на колени. Раскаяние - эмбрион: родится человек или нет - еще не известно. Считая же. что сожаления о случившемся, признание себя неправым, раскаяние это и есть само покаяние, человек останавливается на полпути. И результаты этого самообмана, подмены покаяния раскаянием я наблюдаю ежедневно — из 100, действительно раскаявшихся убийц, покаявшихся - единицы.

б) Отрезок (Б-С) — это покаяние как одномоментный акт. И если с греческого покаяние, метанойя. перемена ума, то (Б-С) это тот самый момент перемены, переворота, когда человек разворачивается на 180°: уже признавший себя на стадии раскаяния «больным», встает, приходит к врачу и, открыв ему свою болезнь, просит об исцелении. В этот момент обращения кто-то падает на колени, кто-то заламывает руки, но, но сути, со всеми происходит одно и то же: человек вдруг с поразительной отчетливостью ощущает приближение Бога и обрушивает себя к Его ногам.

Силой же. переводящей человека из раскаяния в покаяние, является чувство вины. И чем оно сильнее, тем больше шансов, что человек не остановится на полпути, не застрянет на ступени раскаяния и в какой-то момент все же достигнет некой точки не возврата (С), после которой покаяние переходит в новую фазу — в действие непрерывное.

И если подойти к заповеди о второй щеке с этой позиции, то, думаю, позволительно будет предположить, что, кроме иных смысловых аспектов, оно содержит в себе и прямой призыв —

предоставить виновному возможность ощутить себя виновным. Все же. что происходит сегодня и по эту сторону забора, и по ту, мне кажется, сводится как раз к обратному: не позволить никому почувствовать себя хоть сколько-нибудь виновным: ни перед травиной, ни перед человеком, ни перед Вечностью. Но, напротив. — только обиженным и ущемленным. А значит, имеющим все основания защищаться, давать сдачи, как отдельному обидчику, так и государству в целом, а при желании и возможностях переходить и к превентивным мерам — к априорному нападению.

2) Отрезок (С-Д) — это второй этап покаяния. Показаться врачу для того, чтобы из больного стать здоровым, тоже мало. За получением диагноза следует целый курс: режим, лекарства, процедуры. «Горит в ночи распятие лицом на вест, а исповедь - не снятие, а новый крест...» Переменить ум: мировоззрение, принципы нужны и старание и время. (И я, конечно, не о спасении делами) Потому, в тот момент, когда человек становится на колени, а затем встает с них, покаяние не заканчивается Если заканчивается, то человек снова скатывается лишь к раскаянию (саможалению), и никакого преображения в нем не происходит. В противном же случае его покаянный акт перерастает в покаяние, непрерывно длящееся, в постоянное состояние обратившегося, прекращающееся уже только вместе с земным его пребыванием.

3) Есть еще отрезок (О-А). Что он существует, это очевидно. Это некие дни, Предтечи, призывания к покаянию: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему...» (Лука 3: 4). Он предшествует раскаянию, здесь тоже происходит много важного: «Иногда даже не столь важно само действие, сколько то, что к нему подготовляет, делает его неизбежным» (Из писем А. Эфрон к Б. Пастернаку). Но это уже отдельная тема.

Таким образом, проецируя всю эту схему покаяния лично на свой случай, я бы сказал, что всё, изложенное мною до этой строки, относилось только к стадии «Раскаяние» — из точки (А) в точку (Б) я добирался в течение четырех месяцев. И если в этом месте

подвести промежуточный итог, то. думаю, что состояние мое к тому моменту выглядело уже как-то так.

Во-первых, к тому времени я окончательно признался собственной несостоятельности: согласился, что и как юрист, как семьянин, и как человек вообще, я оказался слабым и ничтожным.

Во-вторых, я открыл для себя мир невидимый, признал трансцендентность реальностью. Признал, что Сокамерник, мыши, вещие сны, мое «раздвоение» есть факты вовсе не разрозненные, а все они лишь звенья какой-то одной цени, где последующее есть продолжение предыдущего. Что за всеми этими манипуляциями отчетливо прослеживается чье-то мягкое, но настойчивое стремление привлечь мое внимание, подвести меня к какому-то ВЫВОДУ и принятию решения.

Человек — это действительно территория, на которую Бог входит исключительно лишь по призыву самого человека. По в одержимого, в дочь Иаира, в слугу сотника Он вошел Своим исцелением и воскрешением, не имея на то ни их личного согласия, ни их приглашения. Кто-то (мне всегда казалось, что эго была моя умершая мать) молился и обо мне.

Обстоятельство признания мною существования, мира потустороннего, в свою очередь, потребовало от меня пересмотра всего моего мировосприятия. Ревизии всех моих прежних убеждений и позиций -- начиная от «теории большого взрыва», до вопросов сугубо прикладных - о преступлениях и наказаниях и т. д.

С учетом «вновь открывшихся обстоятельств» — всё выглядело совершенно по-другому. Но самым главным результатом стала трансформация моей трусости — превращение ее в страх. В страх смертный, не имеющий ничего общего с иными страхами. высоты, темноты и прочими. Я вдруг начал понимать, что всю жизнь боялся вовсе не того, чего должен был бояться. Я, как и большинство живущих, боялся смерти. Смерти как опасности. потери, неведомой боли, как конца всему. И уже находясь в камере

смертника, я все еще продолжал бояться именно этого, и именно всего лишь боялся, а не ужасался, а где-то даже и желал его. и поторапливал приходом — потому что видел теперь в смерти еще и конец своему позору и всем остальным проблемам. Столкнувшийся же теперь со свидетельствами существования мира Невидимого, с реальностями и каких-то посмертных форм бытия, и осознающий себя нарушителем норм и правил предусмотренных для всякого проходящего по земле (скорее всего именно той самой невидимостью и установленных), я начал догадываться, что бояться нужно было вовсе не смерти, а жизни. Того, что ожидает меня после остановки моего сердца здесь.

Неожиданность обнаружения этого посмертия, ощущение его как опасности, и все это на фоне неумолимо сокращающегося расстояния до линии перехода (число стоящих передо мной в ожидании расстрела смертников сократилось еще на одного человека), на мой взгляд, и стало причиной преобразования моего дрожания в страх, теперь уже настоящий, производящий перемены.

Допущение мною предположения о существовании посмертия привело меня и к расширению зоны поиска причин моего краха за рамки дня, в котором я совершил преступление. Допустив, что Тот мир — реальность, что мой Сокамерник, моя мать, кто-то еще и еще незримо наблюдают за мной, а значит, являются свидетелями всему, что я говорил «в темноте и на ухо внутри дома» (Лука 12: 3) от мгновения моего появления на земле, я решил сам проинвентаризировать свое прошлое — не сотворил ли я в своей жизни, кроме убийства, еще чего, чего не знают здешние, но знают тамошние.

Я начал вспоминать

Мир — это белое, белое и вдруг черное. Плюс - минус. Верх - низ, Янь - Инь. Поэты и художники, правда, твердили что-то там о полутонах-светотенях, множествах величин промежуточных. но все ведь понимали -лирика. А действительность: луна — это то,

что в луже. Так учили. Так было удобнее и самому. А значит, там, где я еще добрый, способный пожалеть то, что уже не «я» — там я еще не злой, еще не душегуб.

Оперируя именно этим примитивом, я просто ткнул пальцем — попал в свои 13 лет.

... Смоляные ямы на краю нашего села вырыли, когда прокладывали асфальт. Дорогу построили, остатки гудрона в ямах присыпали песком, но на следующее же лето, в жару, гудрон нагрелся, песок провалился и гуси и телята, принимавшие издали блестевшие на солнце смоляные лужи за воду шли на этот блеск, ступив на смолу, увязали, падали, и медленно засасываемые расплавленным варом, погибали.

На требование селян огородить ямы администрация совхоза выставляла встречное — выгонять телят в общественное стало. Селяне противились — на вольном выпасе телята росли лучше. - вопрос завис, и из года в год телята снова и снова забредали в смолу и гибли.

Мы жили на самом краю села, наши телята тоже ходили вольно, и в мои обязанности входило периодически выбегать к ямам и всякую, пытающуюся приблизиться к ним животину, выпроваживать за овраг. Я выбегал, выпроваживал, но иногда все же опаздывал и находил теленка, а то и двух, и трех, уже в смоле. Глупые, увязнув копытом, они, вместо того, чтобы попятиться, делали еще шаг вперед и второй ногой, и хорошо, если падали набок, но чаще — мордой в гудрон. Смола заливала им рты и ноздри, и я находил их уже хрипящими, задыхающимися, с раздутыми животами, с распятыми ужасом и кричащими о помощи глазами.

Кричащими ко мне.

До заброшенного амбара было метров сто. Я бежал к нему выламывал доску, хватал заранее припасенную в лопухах банку е солядкой, опять летел к яме, бросал доску на смолу добирался по ней до телячьей морды, и окуная руки в солярку разгребал смолу,

очищал ноздри, обкладывал, огораживал их палками, щепками, тряпками — всем, что имелось под рукой, лишь бы только смола снова не залила их, пока я добегу до села и приведу взрослых.

Иногда взрослые прибегали слишком поздно, и всякий раз смерть очередного теленка становилась для меня трагедией. Я забивался в сарае под ларь и кляня, и взрослых за их нерасторопность, и себя за то, что побежал не в контору, а к магазину ревел.

Из этого получалось, что в свои 13, я еще умел и сострадать и сочувствовать, а значит, превращаться в убийцу начал где-то позже...

Тогда я перескочил в дни ближайшие ко дню преступления, не успевшее стереть слово «телята» сознание, выхватило о них же.

Я расследовал дело о падеже скота в одном из районов нашей области. Причин падежа было много, по около полусотни голов пало в результате просто жестокости. Вывозя телят на летние пастбища, грузчики при этом систематически забывали брать с собой трап, их просто сшибали с тракторных телег ударом сапога. Они прыгали, ломали себе передние ноги и, пролежав в поле неделю-две, не имея возможности пастись, погибали от голода...

Я вспоминал тогдашние свои переживания и реакции — и гам я еще был не бесчувствен, и все мое тогдашнее поведение казалось мне достоверным тому подтверждением: к уголовной ответственности были привлечены все имеющие отношение к этим фактам лица, в том числе и главные специалисты, депутаты Райсовета — со снятием депутатской неприкосновенности (случай по тому времени очень редкий) («Бюллетень Прокуратуры РСФСР. 1986 год).

Я готов был уже сделать вывод, что в свои 27 лет я все еще не был лишен способности чувствовать чужое страдание — не был бесчеловечен. И только произнеся это «бесчеловечен», я, наконец, сообразил — к человеку.

Это произошло там же. в те же дни. Чтобы не вызывать доярок

в прокуратуру, я выехал в совхоз сам и попросил поселить меня на несколько суток в общежитие. Ночью ко мне вбежала женщина и сообщила, что ее сожитель, только что вернувшийся из мест лишения свободы, убивает ее ребенка. Женщина предупредила, что у него нож, потому, когда я вбежал в избу и уловил в темноте какое-то движение сразу ударил. Включив свет, я увидел парня. С голым торсом он лежал на полу у окна. Забрав ребенка, женщина убежала, я тоже собирался было уйти, но что-то насторожило. Я подошел к парню. Пульса не было, зрачки, как мне показалось, на свет не реагировали, на полу под головой я увидел кровь - падая, он ударился основанием черепа о выступ подоконника. Я решил, что он мертв.

Зачем и почему я совершил последовавшие затем действия, я не понимал, но я точно знал, что в тот момент я должен был действовать именно так и никак иначе. Я мгновенно вытащил труп на улицу, бросил в сугроб, и сам удивляясь — зачем я это делаю? — стал растирать его грудь снегом. Вернулась женщина. Мгновенно оценив ситуацию, сказала: «Скажу, что упал сам». В это время в конце улицы появился прохожий. Не сговариваясь, мы с женщиной схватили труп за ноги и поволокли снова в избу. Когда перетаскивали через порог, голова его слегка стукнулась об пол. Мне показалось, что и нога его в моих руках тоже как будто бы дернулась, я оглянулся, а в следующее мгновение он, словно подброшенный пружиной, подлетел и оказался на ногах. И снова кинулся на меня....

Замечено, что судить о себе следует не по совершённому после предварительного рассмотрения ситуации, а по тому, как ты среагировал прежде, чем успел что-либо оценить и взвесить. Я побежал тогда не сразу. Чтобы я стронулся женщине пришлось рвать на себе волосы. Я поймал себя и на бесчувствии по отношению к ее сожителю. «Убил! Следствие! Суд!» — и ни мысли о нем. О том, что только что лишил жизни человека. Таскал его туда-сюда как колоду, расшибая о ступени и пороги. И как

мгновенно согласился на ложь — сокрытие факта убийства...

Покружившись в тех днях, я теперь уже без труда отыскал и другие примеры собственного безразличия к страданию человека. Для меня это было почти откровением. II я совершенно искрение изумился — почему же я не замечая всего этого за собой раньше? Почему этого не замечали во мне другие? А если замечали, то почему никогда не указывали мне на это? И я снова вспомнил.

Это относилось к поре моего студенчества. У меня был друг. За четыре года меж нами не было не то что ссоры, но даже размолвки. А в тот день, выйдя из общежития, мы стати спускаться к автобусной остановке, о чем-то говорили. И вдруг он, совершенно вне контекста разговора, сказал: «Ты сможешь убить». Это прозвучало столько нелепо, что я и не удивился, и не обиделся, и даже не спросил, почему и к чему он это сказал. Я только хохотнул и продолжил говорить о своем...

И еще. Моему сыну исполнилось два года. Жена была на ночной, а я никак не мог уговорить его уснуть. Я дочитывал ему одну сказку, он тут же требовал другую. Наконец, я сказал. что у меня уже слипаются глаза. Он пристально посмотрел на меня и, вдруг выдохнув: «Лей!», погасил свет и отвернулся к стене.

Рассердившись, он мог сказать: «не дружу с тобой», «не буду любить», наконец, мог пригрозить, что «уедет насовсем к бабушке Вере» — слово же «злой» я услышал от него впервые. Мне всегда казалось, что если уж я и могу быть жестким, несправедливым, неискренним, то, конечно же, только по отношению к посторонним — к кому угодно, ко всему миру: на работе, на улице, в спортзале — по исключительно вне семьи. Возвращаясь же домой, к жене и детям, своих настроений и раздражений я никогда с собой не приносил. В этом отношении я старался контролировать себя с предельной тщательностью, и сын, дороже которого для меня никого не было, не мог видеть меня ни недовольным, ни раздерганным, ни тем более злым.

Я долго не мог уснуть, а утром спросил его: «Я правда злой?»

Он бросился мне на шею и стал убеждать, что «пошутил», что я по-прежнему «людимый». Он пожалел, но я уже ничего не понимал...

Они оба: и друг, и сын, — уже тогда, задолго до трагедии, каким-то особым чутьем уловив запах уже начавшегося во мне тления, пытались предостеречь меня, но я уже «и видя не видел, и слыша не разумел» (Мф. 12: 13).

Опуская прочие подробности моих тогдашних прозрений и открытий, отмечу лишь, что в результате я выбрел-таки к началу, в основе которого оказалась банальность, отмеченная мною еще в период собственной прокурорско-судебной практики. Суть ее в том. что отдельный факт проявления человеком человечности: подобрал выброшенного на помойку котенка, еще не основание утверждать, что этот человек добр — что уже через десять шагов от этой помойки он не ударит в лицо первому же встречному, слишком смело посмотревшему ему в глаза, прохожему. Что человек часто использует право защиты слабого только для того, чтобы выплеснуть собственную агрессию, самоутвердиться, полюбоваться собой. Что содержание человека это и зверь, и ангел одновременно, и кто из них оказывается в их извечном противостоянии. сильнее, зависит от того, на чьей стороне в ту или иную секунду, окажется сам человек.

Из этого следовало, во-первых, то, что я уже за сутки до совершения убийства помог бабе Мане перейти дорогу, а дяде Феде уступил место в трамвае, нельзя было принимать за доказательство того, что на ту минуту все еще был добрым человеком.

Во-вторых, что, занимаясь поиском момента моего превращения из человека в убийцу, я искал ту самую, отсутствующую в «темной комнате кошку». Что момента этого не существует. Что этим моментом является вся моя жизнь, в течение которой, ежесекундно выбирая между добром и злом, я чаще оказывался на стороне своего зверя. Ежедневно, ежечасно, удваивая его силы своим выбором, я возрастил его в себе до таких

размеров, что однажды наступил и тот день, когда он задушил во мне не только моего ангела, но отстранил от власти управлять самим собой и меня самого...

Отец Александр Мень замечает, что прежде, чем заняться поиском истины, Бога, сначала нужно найти самого себя. Способов множество. Один из них: вернуться к своему началу. В этом деле камера смертника действительно подспорье, ее стены становятся зеркалами — отражают тебя в любом фрагменте твоего прошлого не таким, каким ты хочешь видеть себя сам на том или ином отрезке твоего прошлого, а таким, каков есть. У меня же, кроме зеркальных стен камеры, были еще жена и дети. Я снова сел за письмо, чтобы самостоятельно, уже с учетом вновь открывшихся обстоятельств, дать оценку всей своей жизни, пролистывая в обратном направлении — от камеры смертника до крыльца, с которого долго не мог спуститься, страшась его высоты. Но самое главное — теперь уже то и дело подергивая глазами вверх, уже не исключая того, что «нет ничего тайного» (Лук. 8: 17). И если говорят, что добро и зло в человеке присутствуют в смешанном состоянии (чем, видимо, и объясняется то. что, сделав доброе, тут же творю злое, и снова доброе), то. наверное, это были уже именно те дни, когда во мне начался некий процесс поляризации содержимого. Отделение через самое мелкое сито больного от здорового, живого от мертвого.

Из зарифмованного в те дни осталось:

... Бьет меня память ночами бессонными.
Тропами гонит когда-то пройденными...
Будит давно позабытое прошлое.
Лупит за подлое, лживое, пошлое...
Это — за сердце, что вздрогнуть заставил ты!
Это — за плечи, что в камень оправил ты!
Это — за руки, что нежили, холили
Те, что коснуться земли не позволили!..

... Вот тот ребенок, тобою не понятый!
Вот тот цветок на дороге — не поднятый!
Фразы... Фрагменты, с фиксацией датами...
Черное, шитое белыми дратвами...
Два одиночных! Припадочность серии!
В совести квелость! В осклизлость артерии!
Это — за время впустую растраченное!
Это — за взятое, но не оплаченное!
Вот — за бурьян на могилах заброшенных!
Вот — за бездушие! Вот — за безбожие!.,
и т. д.

И, словно все это видел впервые, искренне удивлялся:

... Как же мне стоны не резали слуха?
Как же я боль в тех глазах не увидел?
Как перепутал вертеп и обитель?
Как не заметил наклона у плоскости?
Как оказался вот здесь, возле пропасти?
и т. п.

Возвращался по собственному следу с уверенностью, что увижу сады и кущи, а глазам представали волчцы и тернии — руины и пепелища. Это было уже совсем близко к минуте, когда. наконец, и ко мне «тайно принеслось слово» (Иов. 4: 12).

И последней каплей были тоже не громы и молнии.

Чтобы кого-нибудь спасти — достаточно написать письмо. Просто послышались шаги. Кто-то подошел к двери, приоткрыл «кормушку» и подал конверт.

Адрес был написан рукой тестя, но писем внутри было пять. От каждого на отдельном листке: тесть, теща, жена. Сын и дочь — первые, кривые и грубые, впившиеся в сердце крючьями, каракули. Тесть сообщал, что писать их научили пораньше

специально — чтобы успели сказать все, что хотят, сами.

Быть прощенным невыносимее, чем быть не прощенным. Прощение прощенного к чему-то обязывает, не прощение — нет. А меня именно прощали. Более того, они просили, чтобы остался живым. Настаивали так, словно быть мне расстрелянным или нет, всецело зависело лишь от меня самого. (Чего именно они от меня требовали - они, конечно же, не понимали, так же, как не понимал этого вместе с ними, и от того еще сильнее выходил из себя, и я). Жена, которую действительно получилось «при мне оставил Он. чтоб я Ему еще взмолиться смог», продолжала на-стаивать на том, что моя жизнь принадлежит не только мне, но и ей. А потому считала, что я не вправе, единолично, вопреки ее несогласию, решать жить мне теперь или не жить — требовала, чтобы выжил и вернулся.

И еще были детские рисунки. Солнышко, цветки, ДОМ. Не тот, в котором они оставались теперь без меня, а тот, где еще с крыльцом и калиткой. А перед калиткой - четыре держащихся за руки человечка.

Я счел, что их вера в меня и в мои силы чудовищно и непозволительна и несправедлива. Не соглашаясь с женой, я стал усиленно оправдываться, говорить, что все, что было в моих силах, чтобы избежать расстрела, я сделал. «Неужели, — вырвалось у меня в какой-то момент, — она не понимает, что я больше ничего не решаю?! Что меня расстреляют независимо от того, хочу я этого или нет!» В этот момент, видимо, вызванная из памяти выкрикнутым словом «расстреляют», в голове снова прозвучала периодически всплывавшая в течение последних недель фраза корреспондента: «Не расстреляют, если есть Бог...»

В этом «если», мне вдруг послышалось столько и лицемерия и притворства, что я уже не мог сдержать себя — да уже и не захотел. Сначала взбеленился на себя за тупое и малодушное нежелание признать совершенно очевидное, но уже через мгновение — и на Него (никаких сомнений в Его существовании во мне больше не

оказалось — их словно смело яростью захлестнувшего меня возмущения) за то, что вопреки всем моим знаниям и убеждениям Он все-таки существует, и я совершенно бессилен что-либо с этим сделать.

Помню, в какой-то миг я еще все же метнулся, было, в себя, туда, откуда происходило мое нехотение Его бытия. С судорожным желанием на что-то опереться, на какую-то, всю жизнь по крупицам собиравшуюся систему доказательств, от чего-то оттолкнуться и еще раз не подчиниться и воспротивиться. И хорошо помню то ощущение секундного смятения, когда, вместо ожидаемого, вместо опоры, обнаружил абсолютное ее отсутствие. Провал и уже собрался было обмереть, но в следующий миг понял и молниеносно согласился, что все правильно. Что никакой опоры, основы, базы там никогда и не было, а была лишь зыбь, куча изображающего опору хлама, самим же мною туда и натасканного, и теперь, первым же шевелением очнувшегося от спячки сознания, напрочь сметенного.

Познание человеком собственной греховности не есть плод лишь его персональных усилий. Митрополит Ливший Сурожский говорит, что, когда мы смотрим на себя «без фона Божия присутствия», наши грехи всегда кажутся нам мелкими и несущественными. Во всей своей рельефности и трагичности они открываются нам только тогда, когда нас посещает Бог. Как будто все время бежишь. Все время в кромешной темноте. Через канавы, помойки. П, не имея возможности видеть себя, считаешь, что продолжаешь оставаться чистым, каким вышел. И вдруг Свет.

Но повторюсь, за мгновение до Света я еще успел вызвериться. Я был вне себя. В руках у меня были детские рисунки, которыми я при этом потрясал перед Ним, и потому в следующее мгновение мои мысли перескочили на них, и я закричал: «Причем здесь они, если виноват только я?!»

Движение началось вне камеры. Отчетливо ощущаемая волна возникла где-то вверху, и плавно, и в то же время очень быстро

устремилась вниз, проникла сквозь потолок и, заполняя собой все пространство, достигла моей головы. Но не стала обтекать меня, как я почему-то ожидал, а покатилась — водой сквозь песок — сквозь меня. Когда она опустилась ниже подбородка, я почувствовал незначительное пощипывание в области ключиц, затем довольно ощутимое жжение во всей грудной клетке — ее словно заполнило горячей и очень густой жидкостью, а еще через секунду все тело как бы слегка содрогнулось, и от плеч к ногам. следуя за движением волны, пробежали мелкие мышечные конвульсии. И еще мне казалось, что я все время слышу какое-то легкое потрескивание, подобное треску наэлектризованной ткани.

Когда волна достигла стоп и как будто ушла в бетон, а я снова вернулся из себя в камеру, я обнаружил, что все ее пространство до сантиметра заполнено Им. «Не может человек пересказать всего» (Еккл. 1: 8). Пережившие момент обращения знают, что выразить словами и даже безмолвием ощущение Его первоприсутствия невозможно. Просто был я, весь до крупицы, со всем своим прошлым и настоящим, приобретениями и потерями. и был Он — в всё.

Потом было всякое. И дотрагивание сердцем неба. И испытание «оставленностью». И стояние внутри сказанного. И вновь и вновь переживание ликования от того, что ничто не напрасно, что человек действительно «связь миров, повсюду сущих», и бытие его исполнено конкретными и смыслом и предназначением, правами и ответственностью. Что этот призыв быть добрым и честным не есть всего лишь искусственный элемент искусных технологий удержания в подчинении всеимущим меньшинством малоимущего большинства, а есть естественная потребность всякого, без исключения, человеческого существа. Что зло, в какие бы балахоны оно ни рядилось - неизбежно и обличим», и наказуемо.

Но, как оговорился, вся эта полифония молитвенных переживаний сотрясала меня чуть позже. А в тот момент, лишь

угасла прокатившаяся сквозь меня — при этом что-то ощутимо

оставляющая от себя во мне, волна, и я вернулся взглядом из себя в камеру, я обнаружил Его, и оказавшийся внутри потока незримо изливающейся сверху Нежности — захлебнулся. И сразу узнал ее.

... Мне было лет восемь. Кур в огород напустил в тот раз отец, а влетело мне. Разревевшись от обиды, я выскочил за ограду, перескочил дорогу, влетел в лес, но едва пробежал меж деревьев шагов тридцать, как вдруг уловил не то оклик, не то прикосновение, но, пока осознал это, пролетел по инерции еще некоторое расстояние.

Ощущение было такое, словно попал в луч прожектора, под чей-то тихий выдох, но, не успев остановиться, проскочил. Оглянувшись и никого не увидев, я пошел назад. Когда поравнялся с низко провисшей над стежкой кленовой веткой, понял, что это здесь. Ветка была очень густой и тяжелой, и То, что меня окликнуло, таилось в ней: почувствовал какое-то присутствие, а потом и увидел. Это было какое-то колебание воздуха, прозрачное марево, дымка. А оно снова позвало меня. Я шагнул — Оно отодвинулось вглубь ветки. Осторожно раздвинув листья, я сделал еще шаг. При этом я оказался внутри ветки, и в тот же момент почувствовал, что меня как будто кто-то тихо обнял, и в то же мгновение понял, что это моя умершая не так давно мать, отчетливо почувствовал ее мягко прижимающие меня к себе руки.

Спугнули меня голоса несущейся к речке пацанвы. Я убежал, но потом опять и опять приходил к этой ветке: вступал в листву головой, закрывал глаза и замирал. *И Оно-Она* снова появлялось. Меня словно обволакивало какое-то облако, мягкие ладони опускались мне на плечи, пальцы касались кожи лба и щек. Мне нестерпимо хотелось увидеть эти руки, хотя я отчетливо понимал, что это запрещено и все равно потихоньку приоткрывал глаза, но видел только большую пятерню кленового листа. Я снова зажмуривался - и руки возвращались.

Я прибегал к ветке и когда листья стали желтыми и пошли дожди. Капли катились по листьям, но моему лицу, и мне казалось,

что это плачет мать, и я тоже начинал плакать, но не от того, что мне было плохо, а, напротив, от переполняющей сердце необъяснимой, тихой и светлой радости.

А потом выпал снег. Ветка стала совершенно голой, однако, входя в нее, я по-прежнему словно попадал над какой-то невидимый, образуемый материнским дыханием, купол. На улице было морозно и ветрено, а мне в ветке было тепло и уютно.... А весной мы переехали в другое село.

И вот теперь, четверть века спустя, я стоял посреди камеры смертника, в лучах той самой, бесшумно изливающейся на меня сверху, но только многократно преумноженной, всерастворяющей в себе Нежности. Но теперь я был не тем, чистым и открытым ребенком. Даже не человеком. И потому ощущения и реакция были совершенно иными. Вместо тогдашних восторга и радости - меня теперь охватывало неописуемой пронзительности отчаяние...

Дальше - исповедь. II что-то подсказывает — это для двоих. Что же касается временных рамок моей первой исповеди, то я помню лишь, чем все началось. Чем и когда закончилось — тоже помню, но промежуток — размыт. Был день, потом ночь, потом опять день. Я задыхался, захлебывался, уставал, отключался, снова включался и вспоминал, что виноват еще и вот в этом, и в этом, и опять задыхался и захлебывался. От стыда, от ненависти к самому себе, от невозможности ничего исправить.

Признания и разоблачения исторгались из меня бесконечным потоком, но при этом я ни на секунду не переставал слышать Его ответное молчание. Молчание не как безразличие или осуждение, а как предельное внимание, трепетное нежелание помешать. Он слушал и только изредка, как будто в такт моих выхрипов, как бы кивал головой, поощряя, подбадривая и как бы говоря: «Хорошо... хорошо... Дальше...» И я продолжал. Думать и рассуждать над тем, каким будет Его приговор, я был не в состоянии, но подсознательно готовился к самому худшему и к тому, что случилось — был абсолютно не готов. В какой-то момент мое

отвращение к самому себе достигло какого-то предела, и я закричал, чтобы Он истребил меля немедленно, не позволяя больше пи единого вдоха. И тогда молчание Его кончилось - Он улыбнулся, совершенно внезапно, прервав меня на полуслове, и эта улыбка была четким и ясным Его ответом на всё исторгнутое мною из себя в течение тех суток.

Если бы я стоял с закрытыми глазами в темной комнате, в которой бы внезапно включили светильник, то рассказать, как этот светильник выглядит: размеры, дизайн — я бы не смог. Но то, что любой человек способен и с закрытыми глазами определить, что света не было, а затем он появился, тоже бесспорно. Я не видел, ни глаз, ни губ, но то, что улыбки не было, а потом она возникла — я видел, хотя и «через веко», но каждой своей клеткой. Это было многократное прибавление света, света звучащего, не оставляющего мне ни малейшего шанса не расслышать в этом звучании и сиянии прощения — никогда и никем, ни здесь, ни в самой Вечности не отменимого. И если бы Его вердикт был произнесен какими-то словами, то это было бы чем-то в виде парафраза на шекспировское: «Ты виноват, но пусть твоя вина покажет, как Моя любовь сильна».

А потом наступило утро, когда, снова пристально вслушавшись, я не обнаружил в себе больше ничего, кроме ощущения распахнутых дверей. Я почти всё забросил: и книги, и составление пособия, и рифмоплетство, — как солдатиков, подушивший к своему шестилетию компьютер. Что же касается рифм вообще, то за все прошедшие с тех пор почти 15 лет, я не записал больше ни строки. И это лишний раз говорит о том, что такое занятие было не моего хотения произволом, а побуждением извне — средством, оказавшимся для меня мостиком на пути к покаянию.

Я стал молиться. Складыванию перстов, соединению ладони с ладонью, ума с сердцем, азам, которым в обычной ситуации новоначальных учат батюшки и матери, Он вынужден был учить меня Сам. Что-то становилось естественной потребностью сразу,

что-то требовало приложения усилий и времени — иногда казусы возникали там, где, казалось бы, их нельзя было и ожидать. Так, у меня долго не получалось стоять «ноги в кучку». Свести стопы вместе — «сделать себя уязвимым», лишить себя, вырабатываемой годами тренировок, устойчивости. Я ставил их вместе, начинал молиться, а через минуту обнаруживал, что снова стою «пятки наружу, носки внутрь». Или обращаясь к Нему, я долго не мог называть Его по имени: «Господи», «Боже». Это казалось мне совершенно невозможным, непозволительной для меня дерзостью, и я всячески уклонялся от употребления Его имени. Я говорил «Вы», вместо «Ты», а имя Его произносил только когда это оказывалось уже совершенно неизбежным. (Сегодня я часто произношу его слишком бесстрашно и очень жалею об этом).

О том, что существуют какие-то канонические молитвы, я знал, по «Отче Наш» услышал впервые лишь полгода спустя, когда в камеру смертников провели радио. Появилось «Радио России», пятиминутная программа «Евангельские чтения» и проникновенный голос Николая Ивановича Нейч. В первый раз я успел записать только начало: «Иже еси на небеси» и конец: «ибо Твое есть царство». Имя «Отче» далось мне неожиданно легко и естественно. «Иже еси» я перевел, как «если Ты есть». Но, чувствуя в собственной руке холстину Его хитона, говорить: если Ты есть —я посчитал для себя совершенно неприемлемым. Я решил, что. видимо, эта молитва для тех, кому Он еще не открыл Себя так очевидно, как мне. Кто еще сомневается: то ли «еси», то ли «не еси». И потому в течение нескольких месяцев я говорил: «Отче наш. Ты есть на небесах, ибо Твое есть царство. Аминь». Но даже и в таком осколочном и искаженном виде, эти слова вызывали во мне трепет — чувство одновременно и сыновства, и страха.

Потому первые мои молитвы долгое время были, скорее, просто разговариванием с Ним, в большинстве случаев заканчивающимся тем, что я снова и снова канючил, что если бы я знал о Его

существовании, разве бы жил я так, как жил? Разве убил бы я? «Почему — очень долго не понимал я — Ты открылся мне только теперь? Когда ни вернуть, ни исправить? Почему Ты ни разу за всю мою жизнь, ни единым намеком не дал мне знать, что Ты есть?» Кончилось тем, что в один из таких моментов распахнулся экран, и я увидел тот самый двадцатитрехлетней давности, пожар. Увидел полыхающий склад, суетящихся людей, а затем и самого себя — мечущегося на сугробах и вопящего в припавшее к земле небо: «Бог!»

Абсолютно уверенный в непогрешимости своей памяти, я немедленно возмутился. «Пожар — был, сугроб — был. Но чтобы я кричал? К Тебе? О Котором знать не знал, слыхом не слыхивал? Не было!..» В ответ словно распахнулась какая-то боковая дверца, и на какой-то миг я как будто снова оказался там. на пожарище: ощутил жар пламени, в ноздри ударил запах мороза и гари, увидел, как полетели искры, метнулась и заголосила женщина, испугался, зашелся и вдруг запрокинул голову и завопил по всю силу своего сердца...

Я был изумлен — было! Но как я мог забыть такое? В дальнейшем Он объяснил мне и это. Тот крик мой, моим был лишь отчасти. Кричал не я, а лишь часть меня. Та, для которой Его существование никакой тайной никогда не было. Но сс решение было самовольным, не согласованным пи с моей волей, ни с моим рассудком — а значит, крик мой был не совсем моим. И, хотя нет обращения к Нему, оставляемого Им без ответа, оставить в моей памяти не совсем мое, означало бы ограничить мою свободу выбора направления жизни, подменить веру знанием повлиять на весь ход дальнейшей моей судьбы. Но невольник не богомольник.

Я сказал, что этот эпизод, Самим же Им и заблокированный — не считается. И тогда перед моими глазами поплыли картины.

... В соседнее село мы с братом, мне 10, ему 7, пошли к бабушке. Поднялся буран. Сбившись с дороги, мы забрались в скирду и стремительно околевая, уснули. Очнулся я от толчка в плече. Ни

ног, ни рук уже не чувствовал. Какая-то сила заставила меня подняться, растормошить брата и идти. Пройдя немного, мы упали с обрыва, но снова не на лед, а в сугроб под берегом, выбрались и, сориентировавшись по речке, вышли к селу...

Потом был май. Мне было уже 12, я привел на поляну коня. Ошалевший от весны, он заиграл, недоуздок, который я не успел сбросить с руки, захлестнул мне кисть — конь взбрыкнул, и я успел разглядеть на копыте каждую трещину...

А потом нечаянно выстрелило ружье в руках брата, оторвав мне полу фуфайки; а в 14 я полез за кувшинками в плёса, и меня свело судорогой; а в 15 я упал с повети, и в то же лето врезался на мотоцикле в шлагбаум... И каждый, стоит только оглянуться, без труда найдет в своем прошлом сотни примеров того, когда беда или смерть, незримо отведенные Его рукой, прошли, лишь обдав холодком, по касательной.

Он присутствовал в моей жизни неотлучно, это было совершенно очевидно, и я не переставал лишь удивляться, почему же не видел всего этого тогда? Почему, соприкасаясь с чудом едва ли не на каждом шагу, я ни единожды не попытался найти ему хотя бы какое-то объяснение, в то время как, пусть смутно, по все же чувствовал во всех этих счастливых случайностях и избавлениях чье-то вмешательство?

«Но почему же, — спросил я, — только дважды: на том пожаре и вот теперь, в камере смертника, я ощутил Тебя вот так вот отчетливо, когда и слышу и чувствую кожей, а во всех иных случаях, когда я буквально падал в Твою подставленную ладонь, все было настолько неуловимо и невнятно?» И услышал: «Потому что за всю свою жизнь ты обратился ко Мне лишь дважды — тогда и теперь. Громкость Моего отклика равновелика громкости обращённого ко Мне крика».

И еще: я, конечно же, постоянно говорил о них. мною убитых. Помимо прочего, меня очень беспокоили мысли о предстоящей с ними встрече: «Ты простил, - говорил я Ему, - но я убил не Тебя, а

их. Простят ли они? И все время просил, чтобы Он дал мне поговорить с ними, объяснить, попросить прощения уже сейчас. И Он дал.

Они возникали всегда сверху слева. Всегда на значительном (25-30 метров) от меня расстоянии. И я начинал говорить к ним. Однако звук проходил только от меня к ним, от них ко мне — нет. Я виде.!, что они слышат меня и понимают. Иногда они обменивались меж собой взглядами, я замечал движение век, губ. но все это было слишком невнятно, и иногда мне казалось, что это знаки прощения, казалось, я ощущаю исходящее от них тепло и мир. в другой же раз, напротив — эта мимика казалась мне знаками неприятия и непрощения.

И потому я снова и снова продолжал выпрашивать, чтобы Он позволил мне поговорить с ними еще и еще раз, и так, чтобы и я мог услышать их уже сейчас.

Тот сон был тоже сродни яви. Кто-то позвонил. Я открыл: на пороге стояли они — я обомлел и попятился. Они вошли. Первая держала перед собой торт с зажженными свечами. Протянув его мне, она сказала: «С днем рождения». Продолжая отступать и страшась посмотреть им в глаза, я забормотал, что они ведь прекрасно знают, что мой день рождения не сейчас, а осенью, и вдруг выкрикнув: «Я же убил вас!» — заревел. Первая сказала: «Мы знаем», а вторая покачала головой, затем громко вздохнула, шагнула ко мне и дотронулась до меня рукой. Я все понял и от этого заревел еще сильнее, и забормотал, что она ведь все знает, что я не хотел этого, что я сам не понимаю, как это могло случиться, что готов на что угодно, лишь бы они простили. Между тем. первая прошла в комнату, я и другая прошли за ней и все сели вокруг стола. На столе стояли цветы, полевые, самые разнообразные, большой букет, горели свечи, я ревел, а они молча смотрели и улыбались. Затем уже первая протянула ко мне через стол руку и тоже коснулась меня, а вторая снова глубоко вздохнула, кивнула мне, сдвинула два стула вместе, легла на них,

сложила руки на груди, закрыла глаза и мгновенно уснула...

Когда я понял, что уже не сплю, что я не дома, а в камере, я услышал: «Ты видел?» Я сказал: «Да».

Вскоре они приснились мне снова, с одним предостережением, но это уже совсем о другом. Выжигаемый тогда потребностью попросить прощения у тех, кого убил, я в тот момент совершенно не подозревал, насколько важным было для меня то, простят ли меня именно они. Ведь если говорить о прощении вообще, то, как я слышу теперь: «прощайте, и прощены будете» — это не только о том, что, если хочешь получить Его прощение сам, то прости всем все и ты.

На мой взгляд, речь здесь, прежде всего не столько о лично твоем, персональном спасении, сколько о судьбе других, тех, кто был неправ по отношению лично к тебе.

Так, если кто-то взял у меня мое и не возвратил, обязанность взыскания с него возлагается на Судью. Хотя, безусловно, Ему никто не указ, ибо абсолютно властен в своем (Мф. 20: 15). И тем не менее, если прощу своему должнику именно я, от него пострадавший, то тем самым я практически аннулирую основания для привлечения этого человека к ответственности, я отзываю свой иск. И, самое изумительное — тем самым я освобождаю самого Судью от неприятной Ему необходимости наказывать моего обидчика, того, кто такое же как и я, Его же, не менее дорогое Ему, создание. Тем самым я уже не абстрактно, а на деле становлюсь Его соучастником в Его деле помилования конкретного человека. Мы нередко просимся быть Ему хотя бы в чем-то полезными. Говорим: «сделай средством Твоего промысла хоть в самом ничтожном — морозным узором на стекле, которым восхитится ребенок, тенью, в которой укроется от зноя старик». Но когда Он отвечает: «Тенью так тенью — пойди и прости», — мы оказываемся невменяемыми (я лишь о себе).

Потому, говоря о прощении вообще, мне кажется, что по сравнению с тем же смирением, аскезой, доброделанием, оно есть

самый простой способ вернуть себе и перстень, и ботинки (Лука 15: 22). При этом, наверное, не стоит пренебрегать тем. что, если оружие Бога против нас — Его любовь, то мы против Него тоже не безоружны: у пас есть слезы.

Но, возвращаясь к моим первым молитвам — их особенностью, возможно, как у большинства в первые дни после обращения, был преизбыток эмоциональности. Не экзальтации* или аффектации†, но все же чувственности. То же и относительно смыслового содержания. Вместо славословия, благодарения и даже прощения — бесконечные вопросы и выстраиваемые не в порядке какой-то сублимативной прогрессии, а вразброд – щи-солома-рубероид. Потому что до черты оставалось совсем чуть-чуть, а впереди была бездна неведомого и нового. Хотелось успеть понять и осмыслить как можно больше.

Ничего такого, что было бы чем-то новым для большинства. Он мне, конечно же, не открывал. Только то, что было новым лишь персонально для меня. Мимо чего в свое время «прорысил», но без чего теперь не мог обойтись.

Так, я спрашивал: «Почему же Ты не остановил меня раньше?» — и слышал: «Потому что ты должен был оставаться свободным».

— А для чего мне нужно было оставаться свободным? — не понимал я.

— Для того чтобы ты был способен любить.

— А для чего мне нужна была способность любить?

— Для того чтобы быть счастливым.

— А разве нельзя любить и быть счастливым без свободы?

— Нет. Счастье — это производное Любви. Любовь — производное Свободы. Нет Свободы — невозможны ни Любовь, ни Счастье...

---

* *Экзальтация — крайне возбужденное состояние*

† *Аффектация — преувеличенное выражение какого-либо чувства или настроения. Прим. ред.*

Или я просил Его: — Помоги мне прожить хотя бы эти, оставшиеся дни, не творя зла. Ни словом, ни мыслью... И слышал:

— Не творить зла — мало. Нетворение зла без творения добра - бессмысленно».

— А как же я? — лишенный возможности вообще что-либо творить? Для чего продолжаю дышать я?

— Добро — не есть результат прямых усилий. Оно всего лишь попутный результат любви. У тебя есть возможность любить?

— Да...

—... И я опять возвращался к Злу.

— А зло? Против стены стена?

— Добро - степа. Зло — трещина. Не человек против человека. А человек против опухоли на собственном пальце. На зло добром — лечить. На зло злом — отсечь. Отсечь — проще. Но и имеешь - обрубки и культи. Где уж резцы-кисти — ложку бы удержать...

И о справедливости Его прощения я тоже спрашивал.

«... Соблюдение порядка вещей — гарантия бытия. Вода с горы и никогда не должна в гору. И кровь смывается не раскаянием, не всхлипами, не посыпанием головы пеплом — но лишь кровью. Пролитая мною - моей. Как же тогда могут быть совмещены Твое прощение и Твоя справедливость?..» И получил в ответ. Все гак: кровь — только кровью. И больше никак. Но если самого себя, свою жизнь, свою кровь ты приобщил к Моей — где твое, где Мое? И если кровь, тобою пролитая, смыта кровью Моею, ущемлена ли Справедливость? Поколеблен ли ход вещей?...

Иной раз диалог с Ним перетекал в разговор с самим собой. Но спутать одно с другим невозможно. В чем здесь различие — молящиеся знают: Его речи (в отличие от моей) были присущи простота и лаконизм, и даже несвойственные мне стилистика и лексика.

Если снова оглянуться на приведенную мною впереди схему, то я бы сказал, что это был момент, когда синусоида моего покаяния достигла той самой точки невозврата (С), и состоявшись как

действие разовое, продлилось и в день следующий и не перестает длиться и до сих пор.

А к официальному крещению я был допущен лишь в 95 году. В течение пяти лет я состоял в переписке с настоятелем Храма св. бесср. Космы и Дамиана, членом Комиссии по помилованию при Президенте РФ, рукою которого Господь подписал Свое решение о моем помиловании, отцом Александром (Борисовым). Он посетил и накормил меня, оформил мое обращение и посадил на свои плечи. И несет до сих пор (Лука 15: 5).

Корреспондент, обронивший: «Если есть Бог...», — думаю, и сам не мог тогда предположить (и все равно я безмерно благодарен ему), какую роль сыграет в моей судьбе его вскользь оброненная фраза. Когда в очереди ожидавших расстрела передо мной остался только один Ф., последний, в России произошли известные события (август 1991). На смертную казнь был объявлен мораторий, и назначенная мне высшая мера была заменена на пожизненное лишение свободы.

И в заключение. Теперь меня иногда спрашивают: «Зачем живешь? Надеешься ли?..» Надеюсь. Но больше верю. Потому что надежда это все же лишь то, что будет завтра. Вера же — то, что уже сейчас. А в вере — уверенность, что после каждой пятницы непременно следует воскресенье. Что «вершин», которых «нельзя взять», действительно не существует — Владимир Семенович был абсолютно прав — если их брать вдвоем, с Ним.

И по поводу «зачем»? Во время войны одна женщина, узнав. что ночью фашисты хотят расстрелять ее соседку-еврейку с детьми, спрятала их в своем доме, а сама, оставшись в их квартире, выдала себя за хозяйку и была расстреляна вместо псе. Утром спасенная мать сказала детям: «Теперь вы обязаны прожить свою жизнь так, чтобы жертва этой женщины за вас не оказалась напрасной...»

За меня тоже была принесена Жертва.

А еще тогда, в камере смертника, до Света, отбиваясь от истязавшей меня ночами памяти, я обещал:

Хватит... Ну хватит... Ты только поверь
Память, я понял... И завтра за дверь
Утром я выйду,
Холодной водою вымоюсь чисто,
Ворота закрою и но тропинке заросшей пойду,
Женщину, что одинока — найду,
Встречу в пути чью-то ждущую мать —
След ее буду в ныли целовать!
Слезы ребенку утру, и возьму на руки,
к солнцу его подниму,
Поле — засею,
Друзей — навешу,
Враг повстречается — слышишь? — прощу!
Путник уставший не скажет в укор
Слова – я дверь не запру на запор,
Голый? — порты!
Погорелый? — пятак!
Веришь?
Клянусь тебе — все будет так!
... Память, еще я тебя попрошу:
Если я лживое слово скажу,
Даже не слово,
Всего только мысль злую узришь во мне
Снова ворвись
В сон мой и в день мой,
Со всей своей злостью,
Когти вонзай в мое мясо, до кости,
Бей и кромсай!
На лохмотья!
В куски!
Бей беспощадно, до тарной доски!
Выть буду, гнать буду — не уходи,

Совесть от дрёмы и лепи — буди!
Кровью омоется – станет светлей!
Бей меня, намять,
Пожалуйста, бей!..



Эта небольшая книга содержит свидетельство-исповедь человека, оказавшегося в камере смертника как рак в тот период, когда в России вступил мораторий на смертную казнь. Историю покаяния в изложении самого автора написана остросюжетно и искренне и уже с первых страниц захватывает внимание читателя, который становится свидетелем таких глубоких переживаний, куда человеку постороннему заглянуть недоступно. Свидетельство приобретает особое значение, когда понимаешь, что совершившееся в душе человека прозрение произошло без какого-либо участия или влияния со стороны других людей.